

©

ДАВИД ФРИШМАН В ПУСТЫНЕ



Давид Фришман

В ПУСТЫНЕ

Давид Фришман
В ПУСТЫНЕ

ДАВИД ФРИШМАН

В ПУСТЫНЕ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1992

דוד פרישמן

במדבר

David Frishman

IN THE WILDERNESS

Перевод с иврита *П. Криксунов*

Редактор *М. Шкловская*

На обложке: "Неопалимая купина"
израильской художницы Р. Боярски.
Печатается с любезного разрешения автора.

ISBN 965-320-242-1

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה
ת.ד. 4140 ירושלים
יצא לאור בסיווע
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
קרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק
וירגון הג'וינט העולמי, ניו-יורק

Supported by The Society for
Research on Jewish
Communities, Jerusalem, and
The American Jewish Joint
Distribution Committee,
New York

Printed in Israel

СОДЕРЖАНИЕ

Давид Фришман: биография, позиция, творчество. З. Копельман	7
---	---

В ПУСТЫНЕ

Танец	35
Раб	44
Медный змей	49
На горе Синай	59
Сборщик хвороста	72
Бунтарь	84
Неверная	98
Обезглавленная телица	113
Город-убежище	127

РАССКАЗЫ

Синай	143
Пальми	154
В лесу	164
Лилит	171
Голем	191

ЛЮБОВЬ

Везувий	229
Водопад Ниагара	233
"Великая смерть"	237

СКАЗКИ

Лестница Иакова	243
Копилка	249
Свет	252
Примечания	257

ДАВИД ФРИШМАН: биография, позиция, творчество

Давид Фришман родился в маленьком городке Згреже, предместьи Лодзи. Дата его рождения до сих пор точно не установлена, но на основании писем и юношеских стихотворений большинство исследователей склоняются считать таковой 31 декабря 1859 года. Отец писателя, Шмуэль Фришман, был торговцем, отличался деловой сметкой и практическим умом, не был лишен известных познаний и любил читать книжки. Мать, Фрида-Бэла, была по-настоящему образованной женщиной и, хотя и вела дом по всей строгости религиозной традиции, не чуждалась и новых веяний. Когда Давиду исполнилось два года, семья перебралась в Лодзь, и дом Фришманов быстро снискдал репутацию радушного и интеллигентного еврейского дома. Редкая суббота проходила без гостей, здесь останавливались приезжавшие проповедовать в Лодзи раввины и путешествующие еврейские писатели, и мальчик с раннего детства присутствовал при интеллектуальных застольных беседах, жарких спорах о судьбе еврейского народа и его культуре, состязаниях в остроумии и религиозных диспутах. Но и в будние дни скучать не приходилось: по утрам он учил

в хедере Талмуд*, а после обеда дома с учительями занимался ивритом, немецким и французским. Его способности проявились очень рано. Едва он выучил основы еврейской грамматики и проштудировал с учителем Танах** с переводом на идиш, и вот уже нет предела его восхищению перед красотой древнего иврита, а Танах становится его любимой книгой. В возрасте восьми лет он приступил к регулярному сочинению стихов и рассказов, и знавшие толк в литературе гости отца прочили одаренному мальчику неприменимый успех на этом поприще. Тогда же Фришман впервые попробовал себя в переводе, начав переводить с оригинала на иврит "Графа Монте-Кристо".

Однако дело отца в Лодзи приносило недостаточно дохода, и семья решила переехать в более крупный город, рассчитывая на оживление торговли. Так Фришманы оказались в Варшаве — центре тогдашней еврейской литературной жизни. Именно в Варшаве произведения юного Давида впервые появились в журналах: оригинальный сонет "Есть надежда" и перевод стихотворения Г. Гейне "Донна Клара" (1878). Тогда же он опубликовал статью "Мой дед", которая явилась его ответом на разгоревшуюся в 70-х годах полемику по поводу реформы иудаизма и в ко-

* Талмуд (ивр., букв. "изучение") — обширный свод религиозно-правовых норм иудаизма; содержит толкование и обсуждение Закона, устные предания, научные сведения и т. д. Завершен к 5 в. н. э.

** Танах — аббревиатура ивритских слов *Тора* (Учение), *Невиим* (Пророки), *Ктувим* (Писания) — еврейское традиционное название Ветхого Завета.

торой он сразу заявил о себе как о публицисте с независимыми взглядами и резким тоном. Фришман писал: "Чего стоит вся эта реформа, если мой дед ни на волос не отступит от традиции даже под страхом смерти, а для меня та или иная буква Закона уже ничего не значит в повседневной жизни?" В то время он видел в религиозной традиции лишь историческую ценность и полагал, что нет смысла приспосабливать ее к новой действительности, ибо постепенно она станет достоянием прошлого.

В Варшаве Давид Фришман поначалу помогал отцу в торговых делах, но по мере снижения доходов от предпринимательства все большее внимание стал уделять литературному труду. Работая в редакциях еврейских периодических изданий, он публиковал в них свои статьи, проникнутые нетерпимостью к взглядам писателей-палестинофилов*. Фришман явно симпатизировал идеям еврейского просвещения (Хаскалы**), резко критиковавшего "косность" религиозной традиции и национальную изоляцию и ратовавшего за открытость европейской культуре и усвоение ее ценностей. Такая позиция, а также тесное общение с деятелями Хаскалы помогли Фришману получить от А. Бернштейна заказ на перевод

* Палестинофильство (на иврите — *Хиббат-Цион*) — движение, которое возникло в России в начале 1880-х гг. и позднее переросло в сионизм.

** Хаскала (ивр., букв. "просвещение") — возникшее во второй половине 18-го века движение европейского, в первую очередь немецкого, еврейства за освоение мировой культуры и выход из "культурного гетто" еврейской традиции.

на иврит его многотомного труда "Природоведение" (20 томов с приложениями), излагавшего в популярной форме начальные представления о природе и технике. Этот заказ обеспечивал писателя минимальным заработком и позволил ему окончательно порвать с коммерцией, чтобы отныне жить только литературным трудом (явление по тем временам не частое).

В середине 80-х годов Фришман ненадолго едет в Берлин. Там он пишет ряд новелл и критические статьи о еврейской литературе на иврите и на идише. Его критика была весьма ядовита. Силу своего сарказма Фришман обрушивал в первую очередь на ивритских писателей предыдущего поколения, стиль которых отличался архаикой и тяготел к афористичности, сюжетные повороты были узнаваемы до банальности, а в персонажах не было жизни. Эта "еврейская рутина" претила изысканному вкусу европейски образованного критика, казалась ему вчерашним днем. Он признавался на страницах печати, что намеревался силой заставить еврейских литераторов "бросить их особый, им только присущий, специфический вкус и заменить его вкусом, присущим истым европейцам" ("Тоху ва-воху" ("Хаос") 1883). Нападки Фришмана рассорили его со многими писателями и редакторами журналов, но именно благодаря критическим статьям он быстро выдвинулся в число ведущих ивритских литераторов.

80-е годы отличались небывалым всплеском читательского интереса к художественной литературе. Появились новые периодические издания с разной идеиной и тематической направленностью и увеличился тираж старых. Этот неожиданный спрос на новое ивритское печатное слово позво-

лил тогда Нахуму Соколову*, а позднее и историографам литературы на языке иврит считать началом современного этапа в ней 80-е годы девятнадцатого столетия. Нахум Соколов издавал тогда в Варшаве толстый ежегодный альманах "Ха-асиф" ("Жатва"), первый том которого вышел в 1884 году и был распродан в 10000 экземпляров, — количество до той поры невиданное. И вернувшись из Берлина Фришман начинает работать в этом ежегоднике, а также регулярно помещает в нем и в других журналах критические статьи и обзоры, написанные не столь испепеляющие и обидно, как прежде.

Авторитет Фришмана растет, его охотно приглашают разные редакции, и в 1886 году он переезжает в Петербург, где становится постоянным сотрудником первой ежедневной газеты на иврите "Ха-йом" ("Сегодня"). На страницах этой газеты Фришман опубликовал серию критических эссе под общим названием "Порхающие буквы", которые снова продемонстрировали изящество стиля автора и тонкость его наблюдений. Попутно Фришман печатал почти во всех периодических изданиях собственные стихи и рассказы. Он работал над созданием жанра ивритской короткой новеллы, отличающейся отточенностью сюжета, не перенасыщенного пространными описаниями и дидактическими пассажами, как это было свойственно его предшественникам.

Глубокое проникновение в европейскую культуру и восхищение перед ней побуждали Фриш-

* Нахум Соколов (1859 — 1936) — деятель еврейской культуры на иврите, журналист, издатель, литературный критик; один из лидеров сионистского движения.

мана использовать в своем творчестве разные европейские литературные формы. Помимо новеллы, одним из удачных можно считать опыт создания на иврите критических очерков в эпистолярном жанре. Его "Письма о литературе" (числом девятнадцать) обращены к очаровательной незнакомке, которая будто бы чрезвычайно интересуется положением в ивритской литературе, и Фришман, находившийся в гуще литературной жизни, время от времени сообщал ей о новых именах и произведениях, анализируя те или иные явления и тенденции. Он по-прежнему видел свою задачу критика в том, чтобы воспитывать вкусы читательской публики, поощрять начинающих авторов и помогать им добиваться в литературе на иврите мастерства, не уступающего мастерству лучших европейцев.

Другим важным аспектом своей деятельности Фришман считал перевод. Следует помнить, что в эпоху возрождения языка иврит и развития на нем светской литературы вовсе не очевидным было, какова должна быть "физиономия" этой литературы. Так, современник Фришмана, публицист и еврейский мыслитель Ахад-ха-Ам (1856 — 1927), начавший свою литературную деятельность с резкой критики так называемого "практического палестинофильства", убедительно доказывал, что, прежде чем направить усилия к "возрождению на земле", надлежит позаботиться о "возрождении сердец", т. е. о воспитании тяготеющих к ассимиляции евреев в национальном духе. Несколько позже Ахад-ха-Ам начал пропагандировать идею служения литературы тому же делу национального пробуждения и самоусовершенствования, а когда в 1896 году он приступил к изданию ивритского ежемесячника "Ха-Шилло-

ах", то критерием отбора художественных произведений для него в первую очередь служило наличие в них еврейской тематики. Фришману такой подход был глубоко чужд, он видел в нем, как он говорил, "сужение горизонта", и парадоксальным образом усматривал в почетном звании национального поэта, которым современники увенчали Бялика, умаление масштабности его поэзии. Так, в статье "О связи искусства с народом" Фришман писал, что искусство "было создано не ради народа, а ради Господа Бога и мирозданья, ради всего человечества и, быть может, ради цветов полевых". В противоположность Ахад-ха-Аму и его приверженцам, он был убежден, что еврейская культура не может и не должна питаться лишь собственными соками, что только обогатившись шедеврами общечеловеческой, в первую очередь европейской, культуры она сможет стать по-настоящему живой и значимой. Для этого, полагал Фришман, следует как можно больше переводить на иврит и выпускать переводы в изданиях, доступных самому широкому читателю. Так созрел замысел создания народной библиотеки, осуществить который писателю удалось гораздо позднее вместе с Ф. Лаховером: в 1908 — 1909 годах в Варшаве почти еженедельно выходили дешевые брошюры серии "Решафим" ("Искры"), в которых впервые увидел свет блестящий перевод "Так говорил Заратустра" Ницше и другие переводы Фришмана. Книжки "Решафим" познакомили читателя с достойнейшими образцами европейской прозы, драматургии и поэзии в переводах на иврит, а также с новыми произведениями еврейских писателей-современников — М. Бердичевского, З. Шнеура, Я. Штейнберга, У.-Н. Гнесина, Г. Шофмана.

Однако все это было позднее, а пока Фришман вновь вернулся в Варшаву, где большинство ивритских редакторов и писателей не захотело сотрудничать с ядовитым критиком. В поисках заработка и приложения сил он начал писать на идише. С тех пор он писал регулярно и на идише, и на иврите, выступая на обоих языках как писатель и как публицист.

1890 — 1895 годы Фришман провел в Бреславле, где слушал в университете лекции по философии, истории и изящным искусствам — "для собственного удовольствия и учения ради", как пояснял он в письме одному из друзей. В эти годы, помимо публикаций в периодике, вышли отдельными книгами его переводы на иврит: "Даниэль Деронда" Дж.Элиот, "Сказки и истории" Г.-Х.Андерсена, 4-томная история культуры Ю.Липперта и избранные стихотворения А.С.Пушкина.

Литературные вкусы Фришмана постепенно менялись. Он вдруг находит привлекательные черты у писателей Хаскалы, на которых ранее лишь нападал, и публикует ряд восторженных статей о Менделе Мойхер-Сфориме (1835 — 1917). 90-е годы прошли под знаком увлечения поэзией романтизма: Фришман пишет несколько поэм и баллад, выдержаных в приподнято романтическом духе, а также переводит Байрона ("Каин", "Манфред" и др.). Здесь необходимо отметить, что выбор произведений для перевода определялся не только литературными предпочтениями Фришмана, но и его отношением к языку иврит: как и писатели Хаскалы, Фришман был убежденным приверженцем библейского иврита. Мы уже отмечали его особую позицию на фоне ширящегося воодушевления идеей наци-

нального возрождения. Фришман до конца своих дней остался чужд сионистской направленности этой идеи и ее влиянию на все виды еврейского творчества. Поэтому и к творчеству Элиэзера бен-Иехуды* он отнесся более чем равнодушно — не понимая и не принимая его титанической работы по обновлению и расширению иврита. По убеждению Фришмана, языка Танаха вполне хватало не только для того, чтобы писать на еврейские темы, но и для того, чтобы выразить любые движения человеческой души, отразить любые явления, что и призваны были доказать многочисленные выполненные им переводы. Не все они заслуживают высокой оценки, но непреходящая ценность фришмановских переводов Ницше и библейской драмы Байрона "Каин", может быть, в немалой степени есть следствие того, что язык, риторика и образность этих произведений наиболее близки к Библии, и несколько архаичный в нашем понимании язык Фришмана как нельзя более уместен именно в них.

В 1901 году Фришман начал выпускать свой литературный еженедельник "Ха-дор" ("Поколение"). Название указывало на адресата нового журнала и одновременно на источник основных творческих сил: то был журнал для молодого поколения, трибуна молодых голосов и дарований, не стесненных узами традиции. Но время было выбрано неудачно, интерес читателей и число подписчиков на толстые журналы начали па-

* Элиэзер бен-Иехуда (1858 — 1922) — инициатор возрождения иврита как разговорного языка, преподаватель, журналист, составитель нового словаря языка иврит.

дать, ивритская литература вступала в полосу депрессии, анализировать причины которой здесь не место. При всех своих достоинствах интеллигентный "Ха-дор" уже на второй год не набрал достаточно подписчиков и вынужден был прекратить свое существование.

В 1911 и в 1912 годах Фришман дважды посетил Эрец-Исраэль, и впечатления от этих поездок составили сборник очерков "Ба-арец" ("В стране Израиля"), вышедший в 1913 году в Варшаве на иврите и на идише. Несмотря на то, что писатель оказался в Эрец-Исраэль вместе с волной Второй алии*, сионизм не только не увлек его, но и казался ему опасной затеей. Тем не менее, Фришман положительно оценил достижения халуцим** и даже предсказывал процветание евреев в Палестине, если она попадет под опеку англичан.

Начало первой мировой войны застало Фришмана в Берлине, где он был задержан как подданный вражеской державы (России). Ему довольно скоро удалось вернуться в Варшаву, но опасаясь оккупации города, он уехал в Одессу (1915). Вскоре Фришмана пригласил в Москву богатый еврейский книгоиздатель А. И. Штыбель. Познакомившись с Фришманом еще в 1904 году, Штыбель проникся восторженным преклонением перед ним. Работа в издательстве Штыбеля от-

* Алия (ивр., букв. "восхождение") — переселение евреев в Эрец-Исраэль на постоянное жительство. Вторая алия (1904 — 1914) состояла в основном из выходцев из России и Восточной Европы.

** Халуц (ивр., мн. ч. *халуцим*) — первопроходец, активный участник еврейского заселения и освоения Эрец-Исраэль.

крыла перед Фришманом поле деятельности с почти неограниченными возможностями. Под его началом на иврите было издано изрядное количество произведений оригинальной и переводной художественной литературы от Гомера до Анского*, а также научные и популярные статьи, которые не только выходили отдельными книгами, но и печатались в пухлых номерах основанного Штыбелем журнала "Ха-ткуфа" ("Эпоха"). К сотрудничеству в этом журнале Фришман привлекал и маститых, и молодых писателей, а также сам постоянно печатал там свои переводы, критические эссе и рассказы, позднее объединенные в цикл "В пустыне".

* * *

Предлагаемый читателю сборник Давид Фришман начал готовить к печати во время болезни, за несколько недель до смерти. Сначала писатель думал включить в него только рассказы, относящиеся к циклу "В пустыне". Но сил с каждым днем становилось все меньше, и потому идея книги претерпела изменения: автор решил включить в нее также другие рассказы, не относящиеся к библейскому циклу и никогда ранее не публиковавшиеся, такие, как "Лилит", "Пальми", "В лесу", и ряд рассказов, прежде опубликованных в его многочисленных книгах, в том числе "Голем", "Синай", сказки на еврейские темы и цикл лирических зарисовок "Любовь".

* С. Ан-ский (псевд., наст. имя Семен Раппопорт; 1863 — 1920) — еврейский писатель и фольклорист, автор знаменитой пьесы "Диббук".

Сборник под объединяющим названием "В пустыне" вышел в свет уже после смерти автора (1922), и удрученные издатели видели свою цель в том, чтобы "сжато... представить оригинальное творчество Фришмана в книге небольшого объема", в которой бы, "как в искусной миниатюре, предстал мир Фришмана — мечтателя и поэта".

Теперь этот сборник впервые выходит в свет в переводе на русский язык. Всем своим творчеством Давид Фришман пытался дать ответ на вопрос о том, что такое еврейская культура и по какому пути ей следует идти. Писатель не отождествляет культурное наследие евреев с одним только иудаизмом, хотя на протяжении трех тысячелетий духовное творчество народа почти исключительно было направлено на постижение и толкование одного лапидарного текста — Торы*, о чем свидетельствуют Талмуд, Мидраш**, литургическая поэзия и вся раввинистическая литература. Не отвергая ценности этого наследия, Фришман хочет убедить нас, что творческое начало в еврейском народе древнее Торы и — переживет ее. Религиозной традиции, сформировавшей евреев в единый, несмотря на рассеяние, народ и являющейся его коллективным творением, Фришман противопоставляет своеобразие, силу и творческие возможности индивидуума: страсти, бушующие в душе свободной личности, позволя-

* Тора — в узком смысле Пятикнижие Моисеево, первые пять книг Библии.

** Мидраш (ивр., букв. "толкование") — общее название сборников раввинистических толкований Библии в виде сказаний и предписаний, записанных в посттальмудическую эпоху.

ют ей творить свою жизнь, тогда как Тора призвана усмирить эти страсти и творческую потенцию и унифицировать их в общих для всех евреев формах жизни. (Примечательно, что внутренний источник страстей человеческих обозначается на иврите словом "йецер", а творение — однокоренным словом "йецира".)

О своем понимании европейской культурной истории на рубеже XIX и XX столетий Фришман сказал языком художественной прозы. Пусть он не сумел оценить по достоинству тех принципиальных изменений, которые происходили у него на глазах, но он безусловно чувствовал, что евреи находятся на распутьи, в точке перелома, подобно тому, как это было с ними после исхода из Египта и получения Торы на горе Синай. В те давние библейские времена за сорок лет блужданий по пустыне народ должен был изжить прежнюю психологию и стать монолитом, покорным раз и навсегда данным заповедям. Евреев того, переходного, периода традиция называет "поколением пустыни", и обращаясь к своим читателям, Фришман призывает их вновь почувствовать себя тем народом, что "был еще как ветер пустыни, — свободный и покорный лишь голосу сердца своего".

Писатель словно перерезает ось времени огромным зеркалом, и современная ему свобода эмансипированной личности отображается в зеркалье некоей первичной свободой того далекого прошлого, когда железное тавро заповедей еще не успело оттиснуть на всех евреях свой знак. При таком "через зеркало" взгляде на историю евреев период иудаизма как идеологии послушного коллектива представляется в ней срединным отрезком, которому предшествует фа-

за естественного, доцивилизованного существования евреев в согласии с природой и своими желаниями, и за которым неминуемо последует эпоха вскормленных европейской цивилизацией свободных индивидуумов. Таким образом, цикл "В пустыне" является не столько литературной импровизацией на темы Торы, из которой он заимствовал название (по названию ее четвертой книги — на иврите "В пустыне", в русской традиции "Числа"), топографию, счет времени и намеки на возможные коллизии (об источниках отдельных его рассказов см. в примечаниях в конце книги), сколько плодом раздумий писателя над судьбой своего и грядущего поколения и утверждением своих идеалов. Как и многие, Фришман искал в Библии прецедентов.

Конфликт между почти первобытной свободой и заповедями Торы наиболее остро выражен в рассказе "На горе Синай". Юные, как Ромео и Джульетта, Муши и Пуа — настоящие дети природы. "Их смеху вторит шелест всех листьев, гомон всех родников". Им не страшны стихии: сильные своей любовью, они смеются над громовыми раскатами и не чувствуют холода. Счастливые влюбленные живут лишь друг другом, никто и ничто не нужны им. "Мир вокруг них закатился, словно солнце, и не было Вселенной, и ничего не было — только Муши и Пуа". Однако мир существовал и властно заявил об этом грозным и уникальным образом. У горы Синай, где нашли приют Муши и Пуа, собрался весь народ, чтобы принять великое Учение. Гремит глас Божий, молчит и трепещет внимавший Ему народ, и только Муши и Пуа по-прежнему твердят о своей любви. А громоподобные звуки слагаются в слова, и слова эти леденят душу. От них нельзя

спрятаться. "Тора уловила самую суть жизни и подчинила ее себе". Отныне их любовь объявлена грехом. И когда все великое множество народу снялось с места и ушло, с ним ушла Пуа, ушел Муши. Они больше не принадлежали ни себе, ни природе. Они шли со всем обществом сынов Израиля, и "счастье покинуло их навсегда", — заключает писатель.

Счастье, по Фришману, в красоте мира, в вечно обновляющейся жизни природы, в упоенности творческим проявлением личности, в первую очередь — в любви. Но красота, любовь, чувственные наслаждения не укладываются в прокрустово ложе религиозных догм, учитывающих интересы коллектива, а не отдельной личности. Писатель "поет песню" сильным, эмоционально богатым натурам, которые неспособны согнуться и подставить шею под ярмо заповедей (устойчивое словосочетание в иврите), а потому обречены погибнуть. Бунтари Фришмана не борются за идею, в них бунтует свободная жизнь естества, которую мораль призвана подавить. В этой интерпретации бунта явственно слышны отголоски философии Ницше, кумира и учителя поколения, к которому принадлежал Фришман. Последователи Ницше среди еврейской интеллигенции утверждали, что человек есть самодовлеющее нравственное начало, ибо в этом мире он единственный носитель и источник ценностей. Они полагали, что иудаизм поглотил еврейство, что религиозные нормы, регламентирующие еврейскую жизнь, своей тяжестью придавили в еврейской личности единственное, что имеет абсолютную ценность, — творческий дух. И Фришман показывает нам, как Закон убил любовь Муши и Пуа, лишив их счастья; как в столкновении с ним по-

гибли жалкий и несчастный Гог бен-Бехер (рассказ "Сборщик хвороста") и сломленные, но оставшиеся верными своей любви чистая, наивная Шифра ("Неверная") и юная Хогла ("Обезглавленная телица").

Верный своим убеждениям, Фришман полемизирует с непреложностью еврейских заповедей. В "Сборщике хвороста" представление о святости субботы кажется искусственно привитым народу понятием: еврейские чиновники поначалу не видят преступления в том, что Гог собирал в субботу хворост. Однако не так отнеслись к этому священнослужители, слуги Закона, и вот заповедь о соблюдении субботы — этот один из краеугольных камней иудаизма — оборачивается камнем убийства в детской руке. Маленькая дочь Гога вместе со всеми бросает камень в своего отца. Святая простота!..

Фришман видит истоки конфликтов между "поколением пустыни" и Законом не столько в незрелости народа, как традиционно принято считать, сколько в том, что многое в Торе, а также в самих обстоятельствах дарования Торы противоречит естественной природе человека. Из книги Исход нам известно, что Десять заповедей весь народ услышал "из уст" самого Бога, тогда как остальные весьма многочисленные правила и законы Бог сообщил Моисею конфиденциально, или, как сказано, "лицом к лицу", а уж Моисей передал их потом людям. Новые, часто непонятные установления евреям приходилось принимать, полагаясь на авторитет Моисея и священнослужителей, выделенных Законом в привилегированное сословие.

Протест против нововведений, порождающих, как казалось, социальное неравенство, прежде

всего, против поборов в пользу священнослужителей, Фришман пытается показать в рассказе "Бунтарь". Герой рассказа Кехат выглядит вначале чуть ли не революционером-демократом. Но Фришман не любил революционеров, его нелестные высказывания в их адрес известны. И в ущерб художественной логике рассказа, Кехат из борца за права обездоленных превращается в нигилиста, а потом и просто в разнужданного главаря асоциальных типов, не признающего никакой морали и никаких требований, лишь жажду грубых наслаждений. Уже знакомый нам по "Сборщику хвороста" мотив участия близких в расправе с "преступником" выражен здесь слабее, и пафос заключительной сцены, когда "голодные и несчастные, нищие и страждущие, рабы и рабыни" несут камни, чтобы бросить в своего защитника Кехата, воспринимается здесь весьма занижено.

Куда убедительнее пишет Фришман о бунте любви, которая является одной из ведущих тем большинства его произведений. Любовь сильнее стихии ("На горе Синай", "Везувий", "Ниагара"), сильнее чумы ("Великая смерть"). Но, обрушившись на человека подобно стихийному бедствию, любовь отъединяет его от общества, обрекает на одиночество и почти всегда либо губит, либо ведет к преступлению ("Танец", "Медный змей", "Неверная", "Город-убежище", "Лилит").

Погибает пораженный любовью нежный и мечтательный Дишон ("Медный змей"), погибает вопреки чуду, которое явил Господь для исцеления ужаленных. "И сделал Моисей медного змея, и возложил его на шест; и было, если кого жалил змей, он, взглянув на медного змея, оставался жив", — говорит Тора. Но не тот, кого ужалила любовь, — спорит Фришман.

Любовь не щадит даже преданнейших слуг Закона. В рассказе "Неверная" снедаемый вожделением кохен пытается использовать свою власть священнослужителя, чтобы склонить к преступной связи красавицу Шифру, но лишь губит ее, уже впитавшую новую мораль и потому бессильную перед шквалом его первобытных желаний.

У Фришмана мораль как часть религиозного учения всегда враждебна свободе чувственной любви, а любовь, не находя себе выхода, прорывается разрушительной силой и зовет на бунт против религии. Реувен-Холостяк из рассказа "Лилит" до боли напоминает бунтарей из "поколения пустыни", хотя трагическая судьба настигла его по сю сторону зеркала, а они остались далеко в "зазеркалье", на расстоянии тысячелетий. "Рыдал человек от невыносимых страданий, катаясь в неизбывной боли по равнодушной земле. Проснулся с ним бунтарский дух — бесцельное противоборство со всем миром... Вся община виновна перед ним, и Бог Израиля виновен, и святая Тора, и небо, и земля, все, все..." Сходство подчеркивается еще и тем, что человеческая драма разыгрывается на фоне вечной красы равнодушной природы. Поэтические, импрессионистские по стилю описания неба и земли любовно и чутко регистрируют изменчивость природы словно лишь для того, чтобы подчеркнуть ее обособленность от страданий человека, чей век короток, а судьба банальна. Сколько их терзалось сомнениями, металось по клетке жизни и уходило в небытие, а вокруг все так же щебетали в листве птицы и сияла холодным светом все та же звезда.

Таким образом, в произведениях Фришмана обнажается еще одно болезненное противоречие — между универсальной природой человека как

индивидуума и его национальной принадлежностью, религией, этикой. Наиболее обобщенное истолкование это противоречие нашло в повести "Голем", где двойственность человеческой души доведена до предельного состояния: вместо одной души — две. Тема двойника, конечно, не нова. Фришман решает ее на примере Голема — глиняной куклы, изображающей юношу, которая может становиться одушевленной, причем творцами ее, способными вдохнуть в глину *душу живую*, являются двое: ученый талмудист, рабби Лёв из Праги, и его молоденькая внучка, Хава. И если старик получил эту чудодейственную способность после долгих лет неустанного сидения над святыми книгами, то девушку делает столь же всесильной ее пылкая любовь. Два "творца" борются за душу своего создания, каждый хочет научить своей правде жизни. А несчастный, не имея свободы выбора, мечется, проклиная жизнь, которую не в его воле оборвать навсегда. Здесь хочется для удобства читателей напомнить несколько фактов из "биографий" главных персонажей рассказа — рабби Иехуды Лёва бен-Бецалеля, или, как его принято называть, Махарала из Праги, и его Голема.

Махарал из Праги (1512, Познань — 1609, Прага) был активнейшим лидером городской еврейской общины. Он отличался выдающейся ученыстью, самостоятельностью мышления и склонностью к затворничеству, которое, однако, нередко прерывалось в связи с различными делами, требовавшими его вмешательства. Два главных вопроса не давали покоя Махаралу: вопрос о предназначении человека и вопрос о предназначении еврейского народа. Ответы на них он искал в священных еврейских книгах, а свои мысли и

соображения записывал, и так сложились новые книги: метакомментарий ("Молодой лев") на ставший классическим комментарий Раши (11 в.) к Торе и апология Талмуда ("Колодезь изгнания"), а также сочинения ("Слава Израиля" и "Вечность Израиля"), в которых высказывалась необычная и не всеми признаваемая мысль о том, что народ Израиля ценен сам по себе как удостоившийся Божественного откровения, и потому грехи Израиля не умаляют его ценности, а заслуги не прибавляют к ней. Махарал настолько чтил духовные богатства, накопленные еврейским народом после изгнания из Эрец-Исраэль, что трактовал одно из основополагающих понятий иудаизма — "собирание рассеянных" — не в сионистском духе, а как возвращение всех евреев к Истоку, их питающему, — к святыни Торы, с тем, чтобы быть достойными грядущего мира, о приходе которого, как известно, возвестит Мессия*. Махарал считал, что страдания народа неизбежны, но горячо верил в чудеса, творимые Богом для его спасения, что отразилось в его рассказах о временах царицы Эсфири** и о ханукальном чуде

* Мессия — в религиозных представлениях идеальный царь, потомок Давида, который восстановит разрушенное царство Израиля и соберет рассеянных по миру еврейских изгнанников в Земле обетованной. С приходом Мессии этот несовершенный мир завершит свое существование и начнется всеобщее благоденствие.

** Царица Эсфири (Эстер) — героиня одноименной книги Библии, еврейка, спасшая от истребления свой народ в 5 в. до н.э. при персидском царе Артаксерксе (Ахашвероше).

с елеем*. Ему принадлежат написанные в излюбленной народом форме притч комментарии к трактату Мишны "Пиркей Авот" ("Поучения отцов") и многое другое. И только каббалистических сочинений он нам как будто не оставил.

Каббала же, по твердому убеждению простого еврея тех времен, есть высшая премудрость, ибо это — тайное учение, удел избранных**. И народная традиция последующих поколений превратила Махарала в кудесника-каббалиста, который не только проник в тайны мироздания, но и овладел магической силой полного Божьего имени, "Шем ха-мефораш". Народ сложил о Махарале из Праги множество легенд, его образ особенно любим хасидами, некоторые идеи которых он предвосхитил. Самой популярной и самой удивительной была легенда о Големе, существовавшая, в основном, в устной традиции. Но вот в 1909 году в Польше выходит книжка, автор которой, рабби Юдл Розенберг, предлагает вниманию читателей список с некоего старинного манускрипта, причем поясняется, что оригинала более не существует. В этом манускрипте повествуется о том, как рабби Лёв и двое его учеников силою полного, расшифрованного имени Божьего оживили глиняную куклу, и Махарал по своему усмотрению мог наделять этого Голема душой или снова превращать в истукана. Голем верно служил Махаралу и даже защищал его и евреев

* См. прим. 51 в конце книги.

** Каббала (ивр., букв. "полученное по преданию") — еврейское эзотерическое религиозно-мистическое учение, начавшее распространяться с 13 в.

Праги от притеснителей (о чём писал, например, И.-Л. Перец).

В 1915 году австрийский еврейский писатель Густав Мейринк (1868 — 1932) выпустил роман в гофмановском стиле под названием "Голем" (русский перевод 1922). Мейринк описывал злоключения Голема в Пражском гетто примерно в 18 веке, при этом еврейский антураж был нужен автору скорее как национальная экзотика, наряду с популярными знаниями об оккультизме, египетских божествах и проч. Но главное — Голем нужен Мейринку, чтобы показать двойственность человеческой натуры, в которой богоподобное начало соседствует с земным. Его Голем неотделим от своего совершенного в духовном отношении двойника, он и спорит с ним, и ищет у него совета и помощи.

Фришману, конечно, был знаком роман Мейринка, но его Голема терзают как общечеловеческие, так и специфически еврейские сомнения. Писатель откровенно формулирует не дающий ему покоя вопрос: что более ценно — быстротечное, но насыщенное земными радостями бренное существование, или жизнь, проведенная в непрестанном самообуздании и в приготовлении к вечному грядущему миру? И если мы появляемся в бренном мире только с целью изучать древние фолианты и беспрекословно подчиняться записанному в них Закону, то для чего нас окружает вся красота этого мира и зачем бередят нашу душу смутные и отнюдь не только духовные желания?

Необходимо отметить, что интерес к еврейскому народному наследию пробудился тогда не у одного Фришмана. Примерно в те же годы один из ведущих новых идишских писателей Ицхак-

Лейбуш Перец (1852 — 1915) создает две серии рассказов по мотивам еврейского фольклора — "Хасидские рассказы" и "Народные предания", которые сам автор перевел позднее на иврит. В этих произведениях никогда не живший среди хасидов* и сочувствовавший социалистам Перец подчеркивал нравственную красоту и душевное богатство "маленького человека".

А молодой талантливый ивритский писатель Миха-Йосеф Бердичевский (1865 — 1921) в свои студенческие годы в Бреславле начинает самостоятельно изучать древнейшую историю евреев и их легенды и предания, выпущенные исследователями в сборниках на немецком языке (М. Бубером, И. Хайнеманом). Это увлечение привело позже к появлению обширной антологии еврейских преданий, пересказанных Бердичевским на иврите, — "Мимкор Исраэль" ("Из родника Израиля").

Несколько раньше похожую работу собирателя аггадот — притч и сказаний — из внушительного корпуса еврейской традиционной литературы, называемого Мидрашем, проделал Бялик и в 1908 — 1909 годах совместно с И. Х. Равницким выпустил популярную, но составленную с ученой до-точностью антологию "Сефер ха-агада" ("Книга сказаний"**). Уже одни эти беллетризованные издания показывают, что поисками национальных культурных корней, хоть и соприкасающихся с религиозной традицией, но не принадлежащих

* См. прим. 43.

** См. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. Агада. Пер. с иврита С. Фруга. Изд-во "Библиотека-Алия", Иерусалим, 1980, 1989. Репринт с издания 1908 г.

ей безраздельно, были заняты лучшие литераторы эпохи. Они надеялись, что этот поиск поможет им в их усилиях связать нерелигиозный период современной еврейской истории с предшествующими периодами и предложить юному поколению евреев вариант нового отношения к национальному духовному наследию.

* * *

Сегодня ивритская литература действительно является частью литературы европейской, как жаждала того душа Фришмана. Почти все жанры, направления и стили, представленные в мировой литературе, нашли и продолжают находить свое выражение в творчестве израильских писателей, которое хорошо известно за рубежом и переводится на европейские языки в объеме, доселе небывалом.

Тенденции к обновлению и к секуляризации культуры оказались особенно плодотворными в государстве Израиль. Здесь исчезла угроза ассимиляции, ибо сам факт жизни на земле предков, где возник еврейский народ и где сформировалось его на религии основанное своеобразие, которое он охранял тысячи лет и пронес через многие испытания и катаклизмы, сам факт живучести древнего языка, который на этой земле является не только языком молитв и священных текстов, но и служит народу в повседневной жизни, в науке и в литературе, — духовное детище народа, неотъемлемое от его индивидуальности и судьбы. И наконец, само наличие еврейской государственности делает невозможным растворение израильян в каком-либо другом народе, подобно то-

му, как это происходило и происходит с евреями диаспоры.

Однако израильское общество отнюдь не является монолитным. Напротив, по разнородности его можно сравнить разве что с США, и в нем кипят и сталкиваются в непрерывной борьбе все те же противоположные тенденции и системы взглядов, которые боролись друг с другом еще в эпоху Второго храма* и продолжали противостоять друг другу в 18 веке, в период Хаскалы: священное и будничное, необузданность страстей и религиозный аскетизм, бунт личности и смиренное следование нормам коллектива. Абсолютное неверие соседствует и соперничает здесь с экстатическим ожиданием Мессии и готовностью заложить фундамент Третьего храма, европейская культура с ее язвами и чаяниями сплавляется с традиционной европейской культурой. Здесь даже существует крошечное общественно-литературное движение, именуемое ханаанейством, которое видит в государстве Израиль новую форму существования народа, вскормленного древней, додиблейской, средиземноморской цивилизацией и открывшего двери современной западной цивилизации с тем, чтобы утвердить ее на земле, по которой блуждали праотцы наши Авраам, Исаак и Иаков.

* Храм (на иврите *бет ха-микдаш*) — иерусалимское святилище Бога Израиля, построенное царем Соломоном (965 — 928 гг. до н. э.) и разрушенное вавилонским царем Навуходоносором в 586 г. до н. э., — так наз. Первый храм. Восстановленное к 516 г. до н. э. вернувшимся из Вавилона изгнанниками святилище, — так наз. Второй храм — было вновь разрушено в 70 г. н. э. римлянами.

Всякий, кто ощущал напряженность этих борений в современном Израиле, кто наделен достаточным воображением и сознает уникальность еврейской истории, найдет в публикуемом сборнике Давида Фришмана замечательные короткие новеллы, эмоционально и не без изящества описывающие все еще актуальные противоречия, хотя импульсом к написанию этих произведений послужили конфликты, занимавшие воображение их создателя почти целое столетие тому назад.

З. Копельман

В ПУСТЫНЕ

ТАНЕЦ

Мать услышала эту историю от своей матери, та — от своей, прабабушка — от своей, поколение — из уст предыдущего поколения, а я, в свой черед, узнал ее из уст матери.

Когда сыны Израиля вышли из Египта, был с ними, среди прочего их сопровождающего великого сброва, один очень красивый человек по имени Пут; и женщины, и девушки от края и до края всего стана не могли глаз от него оторвать, а по ночам грезили о нем во сне. В те дни заметила его одна девушка из рода Гершома, из колена Менаше, по имени Тимна, и тут же лицо ее засияло краской, которую сразу сменила сильная бледность, — в первое же мгновение она полюбила его.

Небо тогда было в тысячу крат синее, чем теперь, земля была в тысячу крат свежее и зеленее, чем теперь, а любовь была в тысячу крат сильнее и крепче, чем теперь.

Юноша Пут тоже потерял голову от любви и неотрывно следовал от стоянки к стоянке за девушкой и ее шатром. Он безмолвно шел за нею из Раамсеса в Суккот, безмолвно двигался за нею от Суккот до Эйтама, а потом — все так же безмолвно — от Эйтама до Пи ха-Хирот, что пред Баал-Цефоном. Словно тень по стене, неотрывно

скользил он за нею следом. А в Пи ха-Хирот подошел к ней однажды утром, когда солнце светило необыкновенно ярко, и подарил ей тонкое кольцо червонного золота, и у нее на пальце кольцо засияло в солнечных лучах невиданным блеском, затмив на мгновение все вокруг. В то же мгновение юноша склонился к ней, чтобы поцеловать ее, и, когда девушка ответила ему долгим поцелуем, черные глаза ее, и без того большие, увеличились вдвое.

Из Пи ха-Хирот они продолжали путь уже вместе — до Мигдала, потом — до Мары, до Эйлим, до Красного моря и до пустыни Син. Днем солнце накаляло воздух до сумасшедшего зноя, но они этого не замечали, а по ночам лежали в шатре у порога, у самого входа. Его левая рука служила ей изголовьем, а правая — покоялась у нее на сердце, и никто из них не произносил ни слова. В пустыне Син юноша внезапно исчез, и больше его нигде не видели, — говорили многие, что она внезапно ему опротивела, и он вернулся в Египет.

Но девушка отказывалась этому верить. Приснувшись утром, она глядела на свое кольцо, и большие черные ее глаза увеличивались вдвое; в полдень она снова смотрела на кольцо, неотрывно и долго; и положив его вечером под подушку, всю ночь видела его во сне. Обладатель такого кольца не знает ни страха, ни печали, а подаривший его не может солгать, — думала она. Это только недоразумение, он очень скоро вернется.

Но юноша не возвращался. Когда стан переместился в Дофку, женщины и девушки со всего стана стали как-то по особому посматривать в ее сторону, тайно перешептываться и обмениваться ядовито-насмешливыми взглядами. Но девушка не обращала на них внимания. Ведь он подарил

ей кольцо, а оно ни за что не обманет! Кольцо стало смыслом всей ее жизни.

Прибыли в Алуш, но юноша не объявился и там тоже. Длинная морщина в одну ночь пересекла ее высокий лоб, а большие глаза затуманились. Прямо из земли поднималась, окутывая все вокруг тяжелыми клубами, тихая глухая тоска. Женщины, наблюдая за ней, оставили свои насмешки и стали разговаривать нежно и участливо, чуть ли не со слезами на глазах. А девушка все смотрела на кольцо, то смеясь, то плача; иногда ее глаза озарялись радостью, иногда она скрывалась ото всех надолго в своем шатре.

Следующая стоянка была в Рефидиме. Потянулись тосклевые дни и ночи — она все ждала и ждала. Проснувшись однажды утром, она взяла в руки зеркало из полированной меди, взглянула на свое отражение и, обнаружив на виске седой волос, вырвала его. Женщины и девушки стремились теперь с ней подружиться, всячески поддержать ее, но она их почти не слушала. Только стискивала пальцы, сжимая изо всех сил кольцо, и временами ей казалось, что она сама и есть это кольцо, а временами — что кольцо не что иное как сам юноша, и ее рука обнимает его. И бывало, что мысли ее путались, и она не знала, кольцо ли ушло от нее, а Пут все еще с ней, или это Пут ее бросил, а кольцо осталось на пальце.

Так достигли они пустыни Синай. Девушка сжимала кольцо изо дня в день все крепче. Оно стало дыханием ее жизни, с ним она связала свою душу и все, что ей было дорого. Все помыслы и стремления ее души сосредоточились на том кольце, и стало оно для нее амулетом и талисманом, негасимой свечой, озаряющей тьму. Все пережитое и все будущее слилось в нем для нее

воедино. Обладая кольцом, она обладает всем на свете, и надежда все еще живет в ее сердце, — несмотря на все дурное, что с ней случилось, она продолжала лелеять надежду.

* * *

А в пустыне Синай происходили в те дни великие и чудесные события^{1*}. Они отвлекли весь народ от обыденной жизни и всецело завладели его вниманием: здесь народу *будет дан Бог*. Три дня и три ночи была окутана дымом гора Синай, и все люди, каждый в домашнем своем уединении, готовились к великим событиям, очищались от скверны, готовили праздничные одежды. И звуки шофара² ширились и крепли, и грохотал гром, огненные сполохи и пронзительные молнии сверкали трое суток и ночью, и днем, и было празднество великое, подобного которому не бывало никогда. Народу *был дан Бог!* В те чудесные и страшные дни весь народ, и женщины, и дети тоже только и думали о Боге, которого не видели, но слышали Его голос, и размышляли о тех великих событиях, а на повседневные мелочи никто не обращал внимания и даже не вспоминал о них. Кому в те дни было дело до несчастной девушки, скрывающейся в глубине своего шатра, горюющей и страдающей?

Но спустя несколько дней все изменилось. Народ устал ждать, пока наконец появится из дыма и тумана невидимый Бог, — народ возжаждал бо-

* Цифрами обозначены примечания, помещенные в конце книги.

жества зримого и осязаемого. И обступила толпа главного кохена³, и кричала ему, и требовала: встань, сделай нам божество!⁴ И кохен их немедленно успокоил, пообещав: завтра сделаю. Пусть каждый принесет серьги, браслеты, кольца или другие золотые украшения, и из всего этого золота я сделаю вам божество.

* * *

А завтрашний день пыпал, словно печь. Из ворот жилища главного кохена выкатилась большая новая повозка, запряженная двумя красными быками. Позолоченные края повозки отбрасывали яркое сияние на все вокруг, а рога запряженных в повозку быков, тоже покрытые сияющей позолотой, были повязаны пурпурными лентами с вплетенными в них голубыми цветами, и эти ленты празднично развевались по ветру. На спинах быков были искусно вышитые голубые накидки, а с обеих сторон повозку сопровождали два кохена, облаченные в льняные одежды с эфодом и хошеном⁵; в руках они несли шофары, и голубые колокольчики на краях их одеяний позванивали в такт шагам. Быки ступали чинно, увлекая за собой повозку, кохены трубили на ходу в шофары, и, услышав звук шофара, люди выходили на пороги своих шатров, и их жены и дети выходили вместе с ними. Повозка медленно продвигалась через весь стан, от порога к порогу, а мужчины и женщины бросали в нее свои золотые украшения, из которых должно было быть сделано божество. И не нашлось от края и до края всего стана ни одного человека, которого бы минуло всеобщее воодушевление, который не внес

бы свою долю в общее дело. Мужчины несли золотые монеты, цепочки и прочие золотые вещи, а женщины срывали с себя серьги, кольца, ожерелья, шитые золотом чепцы и все это тоже бросали в повозку. Кидали все — и богатые, и бедные, каждый хотел, чтобы в божестве была и его доля. Пьяное возбуждение охватило стан: только бы отдать все золото, а там — будь что будет. У входов в шатры стояли люди в ожидании повозки и, когда она подъезжала, бросали в нее все, что было у них золотого: светильники и чаши, кубки и жезлы, блюда и ложки. Подошла высокая женщина с золотой свирелью, которой играл у нее на руках больной ребенок, и бросила свирель в повозку. До краев наполненная золотом, повозка двигалась уже с трудом, а народ все бросал и бросал, и золотая груда продолжала расти.

Так добралась повозка до шатра Тимны.

Стоит Тимна на пороге, а на пальце у нее кольцо. Нет! Никогда! Все, что у нее есть, возьмите, только не это. Ведь в этом кольце сосредоточилась вся ее жизнь, все, что у нее есть и было, и кто знает — может быть и все, что еще будет. Это кольцо она ни за что не отдаст. Ни за что! ...А повозка все ближе и ближе, и все бросают в нее женщины-соседки свои сокровища. Вот летит тяжелая серьга из соседнего шатра, падает на груду золота и тонет в ней, вот врезается в эту груду золотой кубок, а вот — большое тяжелое блюдо... Вихрь безумия мчался по стану, вертел и крутил всех поголовно. Вот поравнялась повозка с ее шатром, и кочены трубят, и мычат быки, и колокольчики звенят и звенят. Тимну почти прижало к краю повозки. Внезапный страх обнял ее. Не помня себя, она то снимает, то надевает кольцо на палец и как бы в насмешку над

собой, шутя или играя, вдруг кидает его — еще мгновение, и кольцо уже утонуло в груде золота, выросшей над повозкой. Она почувствовала, что в сердце у нее что-то оборвалось, остановилось, и уже исчезла повозка, и все люди пропали вместе с нею, почему-то погасло солнце и наступила тьма. В это самое мгновение девушка внезапно поняла, что никогда не вернется ее избранник, — он мертв для нее во веки веков.

* * *

На следующий день в стане был великий праздник. Главный кохен, собрав с повозки все золото, бросил его в огонь и, вынув из огня слиток, обработал его резцом, и получилось божество — золотой телец. Тогда народ, наконец, узрел "бога" воочию, в среде своей, и стал приветствовать его восторженными криками. Кохен же построил пред божеством жертвенник и возжег на нем жертвы всесожжения, и вознес жертвы мирные⁶ от имени всего общества, и радость великная охватила всех. Люди стали есть, пить допьяна, и вспыхнуло веселье. Тогда отделились от толпы некоторые женщины и девушки и, взявшись за руки, окружили золотого тельца хороводом и пустились в пляс, мужчины же сопровождали их пляску игрой на свирелях и тимpanах.

Вдруг все отпрянули, освобождая место: среди пляшущих женщин появилась девушка, чей танец был несравненно прекраснее, чем у прочих. Вот она плавно кружится, то выгибаясь всем телом назад, то низко склоняясь вперед, вот она убистряет свои движения, и у всех перехватывает дыхание, а сердце пронзает внезапный страх от су-

масштабной этой ее пляски. Не Тимна ли это, из рода Гершома, из колена Менаша?

Вот снова замедлились ее движения и повеяло от них удивительным покоем — будто вернулась пора счастливых надежд, будто расцвела цветами вся земля.

Но вдруг свилась вся она в клубок и тут же выпрямилась — как змея: это первая боль, леденящий душу ветер, и нет больше цветов на земле — только холод и страх.

Еще мгновение — и она скользит в плавном вихре: ведь у нее осталось кольцо, кольцо, кольцо; вся ее жизнь и душа заключены вместе с ее избранником в том кольце, и все это вместе — одно лишь тонкое кольцо!

В следующий миг она ступает тяжело — слабеют ноги, каменеет лицо, гаснет надежда. Но еще звучит затихающий вдали голос: быть может, быть может, быть может...

Вдруг танец вновь крепнет и набирает силу, голова ее вновь гордо поднята: кольцо она ни за что не отдаст! Не отдаст, что бы ни было!

И через минуту она несется широкими быстрыми кругами, огибая золотого тельца, вращаясь в бурном вихре, словно мельница на ветру: последнее отдала она этому литому "богу"! Единственного своего отдала ему, и вот теперь — он часть целого в общем "божественном" слитке!

Бурным вихрем несется она в танце, почти не касаясь земли, то взлетая к самому солнцу, то безнадежно от него удаляясь. Вот боль совсем ушла, растаяла, пропала. Сама ее душа пропала, вместо души есть лишь ее избранник, но вот нет больше и избранника, вместо него — кольцо, но уже нет и кольца, а есть только жизнь, а теперь и жизнь пропала и есть только "бог". Душа, воз-

любленный, кольцо, жизнь и "бог" смешались вдруг, слились в одно, и не может она больше отличить их друг от друга: душа ушла, став возлюбленным; ушел возлюбленный, став кольцом, кольцо стало всей жизнью, а жизнь превратилась в "бога".

Все ожесточенней, все безудержней становится ее танец. Совсем ушла боль, и остался только "бог". Боль перестала владеть ею одной, ее теперь чувствовал каждый в бесчисленной толпе зрителей, ибо "бог" отнял у нее боль, а "бог" — владыка всей земли! И танец ее все неистовей, вихрь перерастает в бурю... Великий ужас объял весь народ, все торжище немых зрителей, побросали они свои бубны и свирели и замерли на месте, а потом ринулись бежать что есть духу от этого танца подальше...

Совсем одна продолжала она кружиться — безудержно, бесконечно, безнадежно, пока на губах ее не показалась белая пена. И лишь тогда ее танец прервался — рухнув на землю, как подкошенная, она была мертва.

РАБ

Произошло это на седьмой год после исхода сынов Израиля из Египта. Шел девятый месяц того года.

...Желтая бескрайняя пустыня простиралась кругом — глубокий зыбучий песок, в котором так вязнут ноги, что и не вытащишь. Жаром пышущий, жгучий песок — и голубоватое марево над ним. И если покажется иногда на одной из редких скал низкорослый куст, робкая трава или дикий выюнок, — не зеленым будет это растение, а желто-серым: постоит оно недолго, вздохнет, затоскует, а после — поникнет и умрет. Временами пробуждается могучий стремительный ветер, пронося гигантские вертикальные змеи нового песка, покрывающие все лицо земли, и внезапно стихает, будто его и не было. Безмолвие огромно и тяжело до удушья, до обморока. Лишь изредка доносится голодный вой шакала, рык одинокого льва или крик коршуна с горной вершины. Но еще мгновение — и снова воцаряется незыблемое безмолвие. Агония пустыни в полуденном зное.

Но в бескрайней и страшной этой пустыне есть следы человека. По едва заметным ее тропам блуждают караваны племен, вышедших из Египта. Движимые жаждой свободы, племена идут на встречу будущему. Они идут наследовать землю⁷.

У подножия крутых гор и среди дающих тень скал разбросаны десятки, сотни шатров, а те, у кого нет шатров, — разместились на широком пространстве в расселинах, в пещерах, в ущельях и на открытой местности. Лишь изредка люди поднимают глаза к скинии собрания⁸, расположенной на вершине большой, окутанной облаком горы.

Внезапно доносится протяжный звук шофара и вслед за ним — долгая барабанная дробь.

Зашевелились люди, встягнулись, напряженно вслушиваются, берутся за оружие — весь стан встревожен: не иначе как дикое племя жестоких исмаилитян, мидийцев или кушитов приближается, чтобы атаковать израильтян.

Но люди ошиблись: не о приближении воинственных дикарей возвещает труба, нет, — она призывает народ собраться у одного из шатров, где все должны стать свидетелями странного зрелища.

А зрелище действительно было страннее странного. Человек из колена Леви, из рода Кехата, Эльцафан бен-Узиэль, более шести лет назад, сразу после перехода через Красное море, купил раба-еврея по имени Йоркеам бен-Рахам. Теперь хозяин решил отпустить раба на свободу — ведь седьмой год его рабства уже давно наступил, — но тот не пожелал стать свободным и вот, ухватился обеими руками за опорный шест в шатре хозяина, мертвой хваткой вцепился в него, так что никакой силой на свете оторвать его было невозможно.

Трубит глашатай, грохочут барабаны, и народу собирается все больше и больше.

Вот и главный кохен пришел. А Эльцафан бен-Узиэль стоит у входа в шатер и уговаривает раба,

но тот непреклонен и все твердит свое: не хочу быть свободным.

Тогда и кокен стал его уговаривать, пытаясь разъяснить ему смысл свободы и рабства: человек рождается свободным, а не рабом своего господина, будь этот господин подобен хоть ангелу Божиу по великодушию и доброте; но раб все твердит свое: не хочу быть свободным.

Подходили люди из толпы, пытались убедить его и так, и этак, но у раба как будто и слов других не осталось, знай только повторяет: не хочу быть свободным.

Тут Эльцафан бен-Узиэль обратился к нему снова:

— Йоркеам! Может быть, ты хотя бы объяснишь, почему не хочешь свободы?

— Господина моего я возлюбил! — ответил раб приторной лестью.

— Но я-то тебя не любил никогда! И домашние мои презирали тебя всегда, ни плевков, ни тумаков не жалели, собак на тебя натравливали не раз и не два, и последняя из служанок моих не стеснялась унижать тебя. Вечно все тебя преследовали, измывались над тобой, а ты вдруг "господина возлюбил"!.. Да понимаешь ли ты сам, что говоришь?

— Возлюбил я господина моего, жену и детей моих!

— Но ведь это ложь. Пустые слова! Мы все прекрасно знаем, что жена давно тебе опротивела, до детей тебе никогда дела не было, и все это ничего не стоящие отговорки. Не будет ли для тебя же самого во сто крат лучше покончить с пустословием и принять свободу?

— Возлюбил я господина моего, жену и детей моих, не хочу свободы!

— В таком случае, что ты скажешь, если вместе с тобой я отпушу твоих детей и жену? Тогда уйдешь?

— Нет, не уйду. Господина я возлюбил, о, как возлюбил я господина моего! Жизни нет мне без него. Не хочу свободы. На что она мне? Нет, ни за что не стану свободным!

И раб завыл, как побитая собака.

В этот момент громкий голос кохена покрыл рокот толпы:

— Кончено. Эти слова — последние. Хватит болтать. Теперь мы поступим, как того требует Закон.

И кохен облачился в свое белое одеяние с эфодом и узорным поясом.

Вокруг сомкнулось тесное кольцо зрителей. Люди вытягивали шеи, стремясь не пропустить ни одной детали, низкорослые вставали на цыпочки.

— Шило мне! — громко приказал кохен, и принесли шило.

— Держите его над огнем, пока не накалится!

— раздалось новое повеление, и шило держали в огне, раскаляя его докрасна. Раскаленным его подали кохену.

— Двух свидетелей! — приказал кохен снова.

Из толпы вышли два человека, встали около Эльцафана бен-Узиэля.

Кохен поднял глаза к небу, широко раскинул руки и произнес:

— Эльцафан бен-Узиэль! Есть у тебя презренный раб, Йоркеам бен-Рахам, которого ты купил шесть лет назад, перейдя Красное море. Шесть лет он был у тебя рабом, а на седьмой — ты решил отпустить его на свободу, но раб презренный, Йоркеам бен-Рахам, свободы не захотел,

чему свидетели все общество Израиля и эти двое, чьи подписи послужат подтверждением тому, что ты — чист перед Богом и перед народом Израиля. Возьми это шило, подведи презренного раба Йоркеама бен-Рахама к дверному косяку, что у входа в твой шатер, и приколи его к косяку правым ухом, и да останется он приколотым три дня и три ночи, и каждый, кто пройдет мимо него, — мужчина или женщина, — пусть плюнет ему в лицо; а утром четвертого дня — освободи его, и останется он у тебя рабом навсегда.

Писцу же, сопровождавшему его, кохен повелел описать все происходящее на свитке пергамента, заверив документ своей подписью и подписями двух свидетелей, дабы запечатлелась позорная память об этом событии на века. А Эльцафану сказал:

— Вот тебе шило!

И Эльцафан бен-Узиэль, из колена Леви, из рода Кехата, принял шило из рук кохена и, подведя раба Йоркеама бен-Рахама к дверному косяку своего шатра, вонзил раскаленное шило в его правое ухо, приколол раба к косяку, и первым плюнул ему в лицо, — а вслед за первым плевком полетели другие: мимо проходило все общество сынов Израиля.

Раб же — медленно растягивал губы, словно в улыбке, меж тем как плевки текли по его лицу...

МЕДНЫЙ ЗМЕЙ

На тридцать восьмом году странствий сынов Израиля по пустыне состоялось сражение при Эдреи. Среди пленников-эморийцев, захваченных израильтянами в тот день, оказался юноша-иноплеменник, сын мидийки, высокого роста и прекрасноликий, по имени Дишон. Целый день просидел он на вещах в военном лагере царя Ога, а к вечеру, когда еще светили лучи закатного солнца, был взят в плен. Израильтяне сжалились над ним, над его красотой и юностью, и не убили его вместе со всеми другими жителями Башана, включая женщин и детей, еще и потому, что он был мидиец⁹. Поэтому они взяли его с собой и привели в пределы Земли Израильской, поблизости от Ией ха-Аварим, и поселили его в среде своей, в колене Гада. Тогда пришла к нему в стан мать, Кетура. Возвели они небольшой шатер и поселились в нем вдвоем.

Весь стан, от края и до края, знал юного мидийца с мечтательными глазами и неизменной печалью в нежных чертах лица, обрамленного летучими рыжими змейками кудрей. Всегда он бродил по стану, будто во сне.

Наверху горело нестерпимо-жаркое солнце, способное любого свести с ума, внизу обжигал, словно раскаленная лава, отупляющий чувства

песок, — но юноша как будто ничего не чувствовал и ни на что не обращал внимания. Днем он спускался к ручью Арнон, поблизости от деревни Ароэр, и ловил там рыбу на удочку, которую сам сделал. Целыми днями просиживал он там, мечтая о чем-то, а к вечеру поднимался из долины Гада на вершину горы ха-Хор, где на-свистывал на свирели, которую сам смастерили из камышового стебля. Он играл до самой первой стражи¹⁰ — и внимала нежным звукам вся пустыня кругом, и замирала вся пустыня в напряженном внимании. Будто долгая трепетная тоска пролетала на крыльях ветра, такая печальная, как задохнувшийся плач, — и слушали небеса, и содрогались звезды на своих орбитах. И мужчины, и женщины выходили из своих шатров у подножья горы, стояли и слушали, потрясенные. Но бывало, что вдруг забрасывал юноша по-дальше и удочку, и свирель и бродил целыми днями по степям Моава, целыми ночами — по безлюдным пустошам; и когда слух его улавливал в ночном безмолвии одинокий вой голодного волка, — он вдруг оживлялся и шел навстречу опасности. Мать не запрещала ему этих прогулок, он бродил всюду, куда влекло его сердце.

Лишь однажды запретила она ему поступить согласно велению сердца. Празднество великое должно было состояться в Авель-Шиттим, где собираются девушки перед Баал-Пеором, танцуют и приносят ему в жертву свою девственность, и народ сходится туда из близких и дальних мест. Потому и Дишон собрался пойти в Шиттим, а мать ему запретила, говоря:

— Не ходи, сын мой! Не ходи! Если жизнь тебе дорога, сыночек, — не ходи туда. Там танцевать будут девушки, прекраснейшие из всех дочерей

Евы, ступавших когда-либо по этой земле...

Юноша выслушал слова матери, но не понял их и не знал, почему она их произнесла. Но все люди вокруг поняли сразу и перешептывались между собой, покачивая головами и говоря:

— Теперь все ясно! Он происходит из доданитов...

О маленьком племени доданитов рассказывают удивительное: для его мужчин любовь смертельна. Любят они иначе, чем все другие люди: не суматошно, не шутя и играя, но всем духом своим, всеми струнами души, всеми жилами сердца, всей кожей, плотью и кровью. Любят в них каждый ноготь, каждый волос. Любовь охватывает их внезапным пламенем, и сердце пылает, как сухостой. Сжигает их любовь, истощая плоть, пока не уподобится догорающему угольку, но не перестают они любить и угасают, и гибнут, как истаявшая свеча в светильнике. Несчастная женщина все это знала. Так умер и ее муж, полюбив ее двадцать лет назад; так умер и брат ее, совсем еще молодым. Дишону же сейчас двадцать один год, и до сих пор еще не приходилось ему видеть женского лица, не скрытого покрывалом ниже глаз.

Расхаживает юноша по стану и грезит наяву. Днями удит рыбу, а вечерами играет на свирели. Однажды, сидя на дереве высоко среди ветвей, где он заметил голубиное гнездо и намеревался, отпустив горлинку, взять ее птенцов, — юноша внезапно увидел прямо под собой девушку. Она стояла под деревом, и в то мгновение словно окалило его дурманящим огненным зельем, и заструилось оно по жилам его. В ту секунду сердце его замерло, но когда он спустился с дерева, — девушки уже не было.

Не сказав никому ни слова, он отправился в путь. Так прямо и пошел, никого ни о чем не расспросив. Знал он только одно — что искать ее следует с той стороны гор, ибо прекрасное лицо ее ничем не было прикрыто, а без покрываала ходят лишь девушки, живущие за горами. С закрытыми глазами он мог ясно видеть ее облик, но стоило их открыть, — как она исчезала. Он все шел и шел, огибая горный кряж, не останавливаясь ни на минуту. Полагаясь на свое чувство, как собака на силу своего обоняния, он ни днем, ни ночью не прерывал пути, зная наверняка, что в конце концов достигнет жилища девушки.

Дойдя до одного из шатров, он остановился, поняв внезапно и без посторонней помощи, что она где-то поблизости. Он высматривал и ждал ее и днем, и ночью, утром забирался на вершину соседней горы, а вечером сидел в кустах позади ее шатра. И наконец, однажды, Дишон разглядел ее, ни о чем не подозревающую в предзакатных сумерках, когда она купалась обнаженной в ручье Зеред. Тогда лицо его сделалось бледнее, чем мел Иерихонской долины.

Когда, по прошествии сорока дней, вернулся он в свой шатер в Ией ха-Аварим, мать с трудом узнала его. Он шел неровно, словно тень, поминутно спотыкаясь от безмерной усталости. Несколько мгновений постоял он безмолвно, а потом бросился в объятия матери и громко зарыдал. После этого — пролежал в шатре на земле три дня. А к ночи четвертого дня, когда на землю сошло безмолвие, он попросил свирель. Заиграл — и скрылись звезды небесные, и замерли деревья земные, и плакала мелодия, изливаясь, будто не из уст человеческих, а прямо из разбитого серца. Кончив играть, он изломал свирель и выбросил

обломки, лег ничком на постель в углу шатра и больше не вставал. Плоть его медленно таяла, словно воск, а душа мерцала, будто огонек гаснущей свечи, — и он не знал, что с ним происходит.

Но мать его знала.

* * *

В те дни, на сороковом году после исхода сынов Израиля из Египта, когда народ разместился станом на широком пространстве пустыни, раскинув редкие шатры на песках ее, — один край стана в Ией ха-Аварим, а другой его край — в Цальмоне и в Пуноне, и в Овот, а остальные — в Дивон-Гаде и в Альмон-Дивлатайме, одно колено здесь, другое — там, когда они далеко были рассеяны по своим жилищам, шатрам и шалашам, в месяце пятом, в день третий этого месяца, в полдень, человек из Овот пришел в Ией ха-Аварим. Не снимая верхней дорожной одежды и головного убора, не омыв усталых ног, ибо очень спешил, он рассказал торопливо, с жаром и поминутно сбиваясь, обо всех тех чудесах, что случились сейчас в Овот, обо всех тех чудесах, которые он видел своими глазами только сегодня утром: медного змея водрузил Моисей на высокий шест с флагом, и виден он со всех концов пустыни, и всякий болящий и страждущий, кто придет туда и поднимет глаза свои и обратит их на змея, — немедленно излечится от своего недуга и будет здоров...

Люди стояли с разинутыми ртами и слушали рассказ о чуде. Женщину, варившую манну в глиняном горшке на костре из горсточки щепок, охватила крупная дрожь, горшок опрокинулся, и

драгоценное его содержимое пролилось на землю, а она так и застыла с деревянной ложкой в руке. И стотридцатилетний старик, который целыми днями сидел на камне под жгучим солнцем, тщетно пытаясь согреться и крича, что ему холодно, грузно встал на ноги и двинулся по направлению к Овот.

И юноша из левитов, услышав о чуде, внезапно рухнул на колени и распростер руки, — и весь народ, глядя на него, тоже пал на колени или ничком на землю.

И мать Дишона, Кетура, тоже слушала жаркие речи странника, слушала и жадно внимала им. Новая надежда пробудилась в ее сердце, вдохнула в него новую жизнь...

В Овот, что в пустыне Моав, собирается народ. На скалах и в расселинах скал расположились люди со своими семьями, а на горе, что пред горой Нево, — развеивается пурпурный флагок, привязанный к высокому шесту, вкопанному в землю, а на его вершине — медный змей, которого выковал Охолиав бен-Ахисамах, из колена Dana. Мастер придал ему форму летучего дракона. Брюхо дракона — двух локтей в длину, шкуру его составляют круглые кольца, покрытые блестящей чешуей, и высоко и прямо вздымается шея длиною в локоть. Голова у него округлая, два полированных зеленых глаза блестят ярко-ярко, пасть разинута, раздвоенный язык свисает наружу, в общем, весь этот змей-дракон выполнен весьма искусно. Ярко сияет отполированная медь в пламени солнца, и далеко-далеко в пустыне видно это сияние...

А люди, собравшиеся внизу, смотрят вверх, — и священный страх, и трепет веры и великих таинств охватывает весь стан. Или вдруг объемлет

их священный гнев и неизъяснимый ужас — и все они падают ниц или преклоняют колени из страха перед ослепительным великолепием.

У подножья горы на семи возвышениях возведены семь жертвеников, и кохены, и сыновья кохенов, и левиты, и сыновья левитов беспрестанно расхаживают по стану, громогласно возглашая: "Всякий болящий, кто воскурит на жертвенике, — избавится от недуга, выздоровеет и будет жить!" И народ приводил болящих своих, и страждущих своих, и недужных своих, и гнали они впереди себя быков, и баранов, и коз, и овец, несли голубей и горлинок, и отборную муку, и масло несли они с собой — каждый принес в жертву то, что было ему по средствам. И в начале народ подводил к жертвеникам лишь ужаленных змеями — так повелел Моисей, и только потом подводили всех прочих — больных всевозможными другими болезнями.

Тогда вышел к народу кохен Пинхас бен-Эль-азар бен-Ахарон, и все другие кохены выступили вместе с ним. Двинулись кохены строем, ровными рядами, семеро в каждом ряду, и Пинхас впереди всех. Пинхас нес совок с курением огненным и облачен был в длинное пурпурное одеяние, поверх которого был надет льняной эфод и хошен, и белый головной убор украшал его чело, а позади него рядами шагали кохены, по семеро в каждом ряду, словно воинство великое, все облачены в белое, и в руках у них факелы огненные, и звенят колокольчики на краях их одежд, и все нарастает этот звон, и полощется пламя факелов, и все они двигаются по направлению к жертвеникам. С песнопениями обошли они жертвеники семикратно, и дым курений сгустился в тяжелое облако и закрыл на мгновение все это зрелище, а

когда облако рассеялось, — весь народ уже стоял на коленях, и все болящие и страждущие распростерлись на земле, устремив глаза ввысь, к медному змею, и глаза их были искажены болью, а уста что-то беззвучно шептали.

Но все идут и идут болящие со всех становищ сынов Израилевых, со всех концов пустыни, из дальних мест и из ближних, а тех, кто сам идти не может, ведут и несут на руках. И так изо дня в день — идут и идут несчастные, ведут и несут болящих: из Эцион-Гевера и из пустыни Цин, с горы ха-Хор, из Цальмона, из Пунона и из Ией ха-Аварим, из Дивон-Гада и из Альмон-Дивлатайма, и еще из Бет-Иешимот. Ужаленные змеями и укушенные собаками, пораженные болезнями новыми и давними, слепые иувечные, хромые и глухие... И все, кто пришел сам и кого принесли на руках, возносили курения на одном из жертвенников или передавали жертвенных животных кохенам, и люди стояли или падали на колени, или бросались наземь, а глаза свои возносили ввысь к медному змею, смотрели на него неотрывно — и излечивались от недугов.

В месяце пятом, в день седьмой этого месяца, в полуденное время пришла и Кетура, мать Дишона, в Овот к медному змею, и сына своего привела с собой.

Овот плавился в жгучем полуденном зное, и песок под ногами, словно раскаленная печь, обжигал ступни, иногда отдельные песчинки вспыхивали жарким сиянием, превращаясь в огненно-желтый жемчуг. Народ скрывался от невыносимого зноя в шатрах, под кустами и в расщелинах скал. И оба прохладных ключа, что били там из одной могучей скалы, высохли, обратившись в белый, тающий в воздухе пар. Старый

ленивый пес стоял у одного из пересохших источников, и глаза его, пораженные трахомой, беспрерывно слезились, а язык, свесившись далеко наружу, истекал слюной; но вот он внезапно разразился заливиштым лаем, который был оглушительно страшен и наводил неизъяснимый ужас, в особенности, когда трескучее эхо отражалось от окрестных гор, прокатываясь раз, другой и третий по земле. Вдруг пес стал кататься по песку, а потом, в ядовитой своей злобе, внезапно вцепился мертввой хваткой в ствол соседнего деревца. А на вершине горы, что пред горой Нево, высится над всей пустыней медный змей, укрепленный на высоком шесте, и сияющие глаза его созерцают жуткое безмолвие и зной.

Но вот женщина ведет сына, поддерживая его под руку, ибо тот не в силах идти без посторонней помощи, и лицо сына мертвенно бледно. Она подводит его к жертвеникам и осторожно усаживает на землю.

Обессиленный юноша возносит усталые свои глаза ввысь, к медному змею; взор его останавливается, глаза наливаются слезами и из груди рвется внезапный вопль, нет, это лишь сдавленное рыдание.

Но вот уста его начинают беззвучно шептать:
"О, змей! Не жизни прошу я у тебя, но любви.

Я был одинок, о змей, и в жизни своей добра я не видел. Ничего у меня не было, кроме свирели, голосом которой говорила моя душа, и кроме рыб, обитающих в потоке, которые ничего не могли мне ответить, ибо они немы.

Но однажды я увидел девушку и не знал, и не ведал, что за удивительное зрелище предстало пред взором моим.

Было это так, будто внезапно вонзила в меня

змея ядовитые свои зубы, и яд ее пропитал постепенно всю мою кровь, проникая все дальше, — в плоть и в душу мою.

Излечи меня, змей, если только сумеешь! А если не сумеешь — я умру. И вместе со мной — о, если бы я только знал наверняка, что не умрет со мной любовь моя!

Нет, жертвенник я не возведу для тебя, змей, ибо лик той девушки стал для меня священным жертвенником; и не курения вознесу я для тебя, о змей, но всю кровь мою и всю плоть мою на огне воскурю для тебя. Излечи меня, змей, если сумеешь.

О, если бы знать мне наверняка, что вместе с жизнью не уйдет и любовь!"

И проговорив эти слова, он погрузился в безмолвие.

День клонился к вечеру, народ выходил из своих жилищ, и явились кохены с Пинхасом во главе, который нес совок с курениями; с совка растекался клубами тяжелый медленный дым — и болящие, и страждущие распростерлись по земле и воздели глаза свои к змею.

И Дишон, как и они, пролежал так всю ночь, и взор его был прикован к медному змею.

Когда над вершинами гор показался багровый огненный шар, глаза Дишона смотрели из орбит не мигая, прямо на восходящее солнце, и тогда все увидели, что юноша мертв.

И женщина тоже смотрела на змея, смотрела долго и неотрывно. И лишь спустя некоторое время отвезла она своего мертвого сына в долину у подножия горы Нево и похоронила его в той долине.

НА ГОРЕ СИНАЙ

Четыреста двадцать девять лет спустя с тех пор, как поселились сыны Израиля в земле Гошен¹¹, за год и три месяца до всенародного исхода из Египта, когда и стар и млад двинулись в Ханаан через бескрайнюю пустыню, жил один юноша среди евреев, возводивших из кирпичей и глины внешнюю стену города Раамсес. Был он очень молод и нежен, совсем еще мальчик, и звали его Муши; гладким был его подбородок, ему не исполнилось и семнадцати лет. В тот день, когда он появился на свет, повивальная бабка бросила его в воды Нила, согласно приказу владыки Египта¹², ибо была она женщина боязливая и малодушная и страшилась фараонова гнева. И плыл младенец по водам в плетеной корзинке целый день до вечера. Уже в сумерках прибили ленивые волны его корзинку к зарослям прибрежного тростника, и застрила она в тростнике. И люди, заметив корзинку, вынули из нее младенца, и звали его с тех пор "Чудесный", ибо чудо сотворил Господь, сохранив ему жизнь, — был в этом перст Божий. Шею его опоясывала скрученная всемеро пурпурная нить, которую перед расставанием повязала ему мать, и с тех пор нить всегда была с ним. И вот мальчик вырос и начал работать вместе с другими израильтянами на строите-

льстве внешней стены города Раамсес. Однажды он заметил очень юную девушку по имени Пуа, которой всего восемь месяцев назад исполнилось тринадцать лет, и работала она в поле, в окрестностях Питома, — и в это мгновение задрожал у него в руке мастерок, и выронил Муши свой рабочий инструмент, и долго потом искал его у подножия стены. Девушка тоже не на шутку испугалась. Тогда сердца их узнали, что в то самое мгновенье пал на них перст Господень, и никуда им от этого не деться.

И тринадцать дней подряд, и днем и ночью, искали они друг друга, но не могли найти, а на четырнадцатый день к вечеру он внезапно увидел ее невдалеке — она одиноко стояла в пустынном поле. Он подошел к ней, будто они только вчера запросто беседовали друг с другом, или будто он расстался с ней всего лишь минуту назад, и, взяв ее за руку, спросил: "Чего мы еще ждем?" — но девушку охватила внезапная дрожь, и она ничего не ответила. Ответили только ее глаза, и этот ответ был многое красноречивее любых слов.

Со следующего дня их больше никто не видел ни в Раамсесе, ни в Питоме, — они бесследно исчезли.

Ночью и днем, долгие часы шли они вдвоем, взявшись за руки, шли, широко размахивая крепко сцепленными ладонями, и не знали, куда идут, и не ведали, чего хотят. Были они совсем как дети, чистые и наивные, — и сердца их пели. От Раамсеса дошли до Суккота, от Суккота — до Эйтама, от Эйтама — до Мигдала, что перед Пи ха-Хирот, и не знали они, где находятся, и названия всех этих мест тоже были им незнакомы, — и только сердца их пели. Лишь на третий день утром осмотрелись они вокруг и увидели, что со

всех сторон окружает их бескрайняя страшная пустыня Шур, и бесконечная степь угрожающе протянулась перед глазами до самых недостижимых, невообразимо-дальних горизонтов; но они вдруг расхохотались, развеселились — что им пустыня, что им степь?! Они были словно дикая лилия, выросшая в темном ущелье, и словно журавль в необъятно-высоком небе, не знающие ни забот, ни печали. Они шли и шли, собирая всякие съедобные травы и кореня и находя иногда дикорастущие овощи и фрукты, наедались ими досыта и еще оставалось, и тогда они со смехом увязывали оставшееся в узелок и вдвоем несли его на длинной палке, — и сердца их пели. Когда припекал полуденный зной, юноша нес над головой подруги тенистую пальмовую ветвь, защищая девушку от палящего солнца, иногда помахивая ветвью как опахалом, создавая приятное прохладное дуновение; а ночью, когда становилось очень холодно, они укладывались рядом в углубление в земле, сердце к сердцу, плоть к плоти, и так согревали друг друга, и было им тепло. И бывало, что вдруг обрушивался на землю ливень, и молнии плясали по небу, размахивая длинными сверкающими плетьями, — тогда они замирали на мгновение, не зная, как поступить, и вдруг оба разражались веселым смехом, бросаясь друг к другу в объятия, и бесконечно, беспрерывносыпали друг друга поцелуями. А иногда начиналась настоящая буря, и везде свистело и грохотало, и полевые звери прятались в норы, а птицы небесные спешили укрыться в гнездах; они терялись на мгновение, но тут же снова соединяли пальцы, высоко поднимали крепко сцепленные руки, вскидывали головы кверху и заходились в бурном танце. Однажды Муши сказал

подруге: "Давай-ка побежим рука об руку! Побежим, не разбирая дороги, в пустыню великую, вон в тот зеленый оазис, там, далеко впереди! Прибежим в густую зеленую рощу и спрячемся там в кустах! Сбросим всю одежду и побежим совсем голыми! И еще: увенчаем горячие наши головы алыми венками из цветков дикого мака, тогда на бегу мы почувствуем, как его огненными лепестками будет играть ветер!"

Так добежали они до Мары, а от Мары — до Эйдима. В Эйдиме они увидели двенадцать прохладных источников и семьдесят высоких пальм. Перебегая от ключа к ключу, они обошли их все, набирая горстями воду и с громким смехом поили друг друга, а все семьдесят пальм вторили их смеху шелестом своих ветвей. Потом бросились к пальмам и обошли их все подряд, от первой до последней, и вдруг охватило их страстное желание вскарабкаться на вершину, и каждый из них залез на свою пальму, и каждый спрятался в своем укрытии из широких ветвей так, что его не было видно, и каждый кричал со своей пальмы: "Голубок или горлица?" — и они смеялись громко и весело, пока не запели, вторя их смеху, все двенадцать прохладных ключей. И, не помня себя от счастья, словно маленькие дети, отдавались они охватившей их великой радости.

И ушли из Эйдима не разбирая дороги, и пришли в пустыню Син, и там блуждали три дня и три ночи, потом пришли в Рефидим, а когда вышли из Рефидима, увидели перед собой гору, но не знали, что это за гора, как она называется. Пуа сказала: "Я немного устала". Муши сказал: "Я хочу спать". И взобрались они на гору, и нашли там среди расселин пещеру, пригодную для жилья. Потом они приготовили себе из песка мяг-

кое удобное ложе и решили так: никуда мы не уйдем отсюда, так и поселимся здесь навсегда. И так и сделали.

И были они, словно дети.

* * *

Им казалось, что весь мир вокруг не существовал до них никогда. Небо имело смысл лишь тогда, когда было хоть как-то связано с их любовью, земля имела значение лишь постольку, поскольку давала им пропитание, — немного съедобной зелени, только, чтобы утолить голод, — но мгновение спустя они забывали и о небе, и о земле, помня лишь о себе и своей любви. Им совсем не хотелось никого видеть, им ничего не было нужно, ибо хватало им друг друга и ни в чем ином они не нуждались. И случалось, что все происходящее вовне и вокруг них было им только в тягость, лишь обременяло; бывало, что небо служило им лишь помехой в священной литургии любви; а иногда и земля служила препятствием, заслоняя великий смысл их жизни. Эта чудесная тайна жила в их сердцах и днем, и ночью, и ненавистен был им всякий чужой взгляд, всякое прикосновение извне. Раз или два в месяц проходил мимо их убежища путник, тогда они перебрасывались с ним лишь несколькими словами, ни о чем у него не спрашивая (их ничто не интересовало), — ведь они торопились поскорее скрыться в своем потайном уголке; а когда пастух-кочевник проходил со своим стадом мимо их горы, они быстренько выменивали у него немного хлеба за горсточку ягод или плодов, снова торопясь поскорее вернуться в свое укрытие.

Мир вокруг них померк, словно уходящий день, и не было Вселенной, и ничего не было — только Муши и Пуа, Пуа и Муши, в этом состояла вся их жизнь.

По утрам, в час восхода солнца, они лежали нагие у входа в пещеру, левая рука ее — у него на сердце, правая рука его — у нее в изголовье, и грезили наяву, глядя широко раскрытыми глазами в самую глубину неба.

— Смотри-ка, — говорила она, — кудри твои нежны, словно ласковые лучи солнца, а у других мужчин волосы жесткие и прямые. В очах твоих пылают два солнца, а у других — лишь пара темных камней. Ты прекрасен, словно сын Бога, а все другие — как земляные черви, чей вид отвратителен и движения неуклюжи. Ты полон тайн, словно безымянное чудо, а другие — прозрачны, как ясный день, и день этот для меня невыносим.

И вечером, когда на небе высыпали крупные яркие звезды, они лежали рядом, нагие, и взгляды их копьями вонзались в ночной небосвод.

— Загадочна ты, — говорил он, — и полна скрытого жара, словно цветок в дремучем лесу, что в пустыне Шур. Ты исполнена вековечной тоски, словно вечерняя песнь в заброшенном поле. Любая кость твоя испытует меня, словно обоядоострый меч. Ты подстерегаешь меня и зовешь, призываю мерцаешь и манишь, словно синие блуждающие огни на болоте.

В жаркие полдни она говорила:

— Ты для меня — словно падающая звезда, летящая темною ночью ко мне в объятья, ты — словно серебряный луч.

— Глубока ты, — говорил он, — грозна и темна, словно колодец, уходящий глубоко в земную толщу.

И даже не целовались они, а буквально поедали друг друга всем ртом, не ласкали друг друга, а погружались, ныряли, сливались друг с другом и растворялись друг в друге: одна душа, одна плоть...

И шли дни, складываясь в месяцы, проходили месяцы, соединяясь в годы, и вот уже минуло три года с их первой встречи.

Порой даже солнце в небе, даже оно было им помехой; а иной раз разгоралась в них зависть, что помимо них существует на земле и другая жизнь; иногда их огорчало, что есть деревья и кусты, и птицы в небе, и камни, и песок, и что не одни они живут на свете; и все подобные мгновения мешали их уединению и любви, да и самой их жизни. Во имя чего Бог все это создал? Почему Он не сотворил только их одних?..

И не знали они, что убежищем им служит гора Синай...

* * *

Однажды утром разбудил их великий шум и топот множества ног: повсюду вокруг шумели толпы людей и многочисленные стада скота. Муши и Пуа были очень удивлены. Кто посмел так грубо нарушить их покой, ворваться в их заповедное убежище, похитить их тихое счастье и посягнуть на их уединение? Выглянув из пещеры, они увидели великое множество народу, расположившегося лагерем у подножия горы Синай.

Вдруг послышались слова странные и чудесные:

“Учение дано будет здесь народу, постановления и законы...”

Пуа и Муши ничего не понимали. Кому оно нужно, это Учение? К чему постановления и законы? Презрительная усмешка кривила их губы.

“...Учение, Тора завоюет весь мир, от края и до края всей земли, и постановления и законы подчинят себе всех живущих на земле, все народы, всех и каждого, каждого отдельного человека на земле...”

Услышали Муши и Пуа эти слова и неожиданно ощутили тяжесть великого бремени. Во имя чего эта Тора сковывает жизнь человеческую, почему никак нельзя позволить самой жизни, — где бы она ни была, — дышать и жить свободно? Горькая усмешка застыла гримасой на их лицах. Лишь бы только эти досадные мелочи не сумели отвлечь их от великого смысла их жизни!.. Они поспешили скрыться в наиболее отдаленный уголок своей потайной пещеры и спрятались там, чтобы голоса извне не достигали их ушей, и еще через мгновение уже ласкали друг друга, сердце к сердцу, душа к душе — и немедленно забылось все то грозное, что видели их глаза и слышали их уши.

А огромное, несчетное множество людей проходило обряд очищения, все стирали и готовили праздничные одежды свои день и еще день, а на третий день все собравшиеся были готовы принять Учение¹³.

И вдруг покачнулась земля у них под ногами, содрогнулась от края и до края, и раскололся — от горизонта до горизонта — изумленный небосвод, и чудесные, странные, невиданные, грозные знамения показались на небе и на земле. Алые и синие огни плясали на крыльях ветра, яркие сполохи и пламенные столпы заполняли все пространство оранжевым огнем ярче солнечного, и

огромные, ярко мерцающие звезды зажглись в небе средь бела дня, а на севере стремительно всходило, жарко разгораясь, изумрудное сияние. Содрогнулась земля — и замерла, и вместе с нею застыла вся Вселенная: деревья, травы и кусты прервали свой тихий рост, расселины скал разинули жадные пасти и все ждали чего-то, и все живое — и звери, и птицы, и домашний скот — замерло в ожидании. Летучий змей расправил высоко в зените чешуйчатые крылья, застыв в беззвучном своем парении и напряженно вслушиваясь в безмолвие; и пестрая гадюка, упругими кольцами вьющаяся по земле, подняла плоскую голову и насторожилась.

А Муши в потаенном уголке в глубине пещеры преклонил колени перед своей возлюбленной, вглядываясь в бесконечную глубину ее глаз...

И вдруг — загрохотал гром, засверкали молнии и языки пламени, и тяжелая туча, спустившись с небес, легла на гору и покрыла собою всю землю вокруг, заполнила все долины и облекла собою все холмы. Вся бескрайняя пустыня, затаив дыхание, замерла и напряженно вслушивалась. И звуки шофара, могучего рога, сотрясли своими раскатами всю округу, и гора вздохнула, и из нее, словно из огненной печи, вырвался в небо столб раскаленного дыма. И стройные отряды кохенов стали у подножия горы, а позади кохенов выстроились ровными рядами левиты, а за ними — великое множество народу, словно песок на морском берегу, и ослепительно белы были праздничные их одежды, и ужас и тьма лежали на их лицах.

И вот тяжелый туман поднялся из низин и медленно окутал всю гору.

Все безудержней свистопляска молний, все ярче

огненные сполохи, все мощней громовые раскаты; но вдруг послышался голос, но и не голос вовсе — оглушительный грохот, покрывающий все остальные звуки, и во всем этом грозном столпотворении предельно ясно слышалось из бури каждое слово, и временами казалось собравшимся, что слова эти долетают и до крайних пределов четырех сторон света, достигая самых заброшенных островов в отдаленных океанах:

“Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя иных богов пред лицом Моим...”

И в то же мгновение Пуа тихонько прошептала своему возлюбленному:

— Ты красивее всех людей на свете! Как ты прекрасен! О, как ты прекрасен!

“Не делай себе изваяния и никакого изображения... Не поклоняйся им и не служи им...”

А Муши, пьяный от любви, держа ее за руку и не помня себя от счастья, говорит ей:

— Тебя одну я люблю из всех девушек земных! Как я люблю тебя! О, как я люблю тебя!

“Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не пощадит Господь того, кто произнесет имя Его напрасно...”

А Пуа все лепечет, шепчет непрестанно:

— Заклинаю тебя именем Бога, заклинаю тебя солнцем полдневным и луною ночною, заклинаю тебя небом и землею: прильни ко мне крепче и влей сладчайшее вино губ твоих в мои губы, ибо жажду я губ твоих, они душу мою обжигают пламенной кровью твоей, крови взалкал душа моя, позволь мне впиться зубами во влажную плоть твою, ибо жажду я живой твоей плоти, позволь мне сжимать твое горло, пока не задохнешься в моих руках!

“Помни день субботний, чтобы освятить

его... В шесть дней создал Господь небо, и землю, и море, и все, что в них..."

Губы Муши шевелятся, и он, не помня себя, беззвучно шепчет:

— Опали меня взглядом своим! Пусть жжет меня пристальный взгляд твой, и я растаю, как воск, испарюсь, словно пар, и исчезну, перестану существовать! О Пуа, как жажду я проникнуть в самую глубину бездны души твоей! Кудри твои мягче шелка, нежнее руна новорожденных ягнят в полях Тахпенессы, волосы твои тоньше тончайшего папируса с берегов Нила! Прекрасны линии бедер твоих, словно колонны Раамсеса! И груди твои — как холмы мирры, на которых отдыхаю я в полдень!

"Чти отца твоего и мать твою... Не убивай... Не прелюбодействуй... Не кради... Не лжесвидетельствуй..."

Но вдруг Муши стал бледнее мела. Голос из недр бури громовым раскатом ворвался в пещеру, достигнув их потайного угла в самой ее глубине, и заставил юношу вскочить на ноги.

"Не желай дома ближнего твоего... Не желай жены ближнего твоего..."

Пуа тоже вскочила на ноги:

— Ты слышишь? Слышишь, Муши? — И оба они заткнули уши, чтобы не слышать...

Огромный страх обнял их, они не понимали, что происходит, и лишь пронизывал их неизъяснимый ужас...

* * *

Прошли дни, и все великое множество народу, что расположилось станом перед горой Синай, снялось с места, двинулось в путь и ушло. И сно-

ва, как прежде, не было в пустыне ни души. Только немые скалы созерцали вечное безмолвие.

Но ужас, охвативший влюбленных, все усиливался. Больше не знали они прежнего покоя, не умев постичь, отчего. Словно тяжкое бремя легло на их плечи...

Радость жизни внезапно оставила их.

Однажды ночью, когда Пуа лежала в объятиях Муши и все никак не могла уснуть, она сказала ему:

— Знаешь, Муши, мне вспомнилось, когда я была еще совсем маленькой девочкой, сидела я у бабушки на коленях, и она мне рассказала страшную историю: жили когда-то в саду Эден¹⁴ Адам и его жена, и однажды утром они были изгнаны оттуда, и совсем не знали почему. Великий и страшный перст Божий лежал на них — и вдруг стала для них сама жизнь тяжкой ношей...

Муши был потрясен и смущен ее рассказом, пришел в неуемное возбуждение, даже начал грезить наяву. Однажды он сказал: "Раз уж у человека открылись глаза и он прозрел, ему не удастся закрыть их снова, и ничего ему уже не поможет. Зрелище, однажды виденное доли мгновения, не оставит его больше никогда..."

И они умолкли, и не говорили друг с другом много дней. Как если бы поразила их немота.

И вот как-то утром Муши, пробудившись от сна, увидел, что ложе возлюбленной его опустело. И он понял, что ночью она покинула его, бросившись догонять кочующий стан израильтян. Тогда юноша тоже собрал свой узелок и двинулся в путь.

Догнав израильтян, Муши увидел ее: шла она босиком за Моисеем, не отставая от него ни на шаг. Следовала за ним, словно тень, повторяя

каждое его движение. И губы юноши беззвучно прошептали: "Тора уловила самую суть жизни и подчинила ее себе..." И он тоже двинулся в путь со всем обществом сынов Израиля, и не ведала душа его, почему он неотступно следует за ними по пятам, словно тень.

Когда Пуа его заметила, его пронзил внезапный испуг, и поняв, что не выдержит ее взгляда, он поспешил скрыться из виду. Пуа тоже не могла его видеть и стала избегать его.

Счастье покинуло их навсегда.

СБОРЩИК ХВОРОСТА

Это произошло в первый год после исхода сынов Израиля из Египта, в восьмом месяце того года, когда стан раскинулся на широких пространствах голой степи, после того, как пришли они из Тавэйры. Израильтяне расположились в шатрах и шалашах перед Кадешем, в пустыне. Был тогда среди них один очень бедный человек, из тех, что строили стену города Раамсес, по имени Гог бен-Бехер. Имущества у него никакого не было. С большой женой и четырьмя детьми прозябал он в маленьком шалаше, который возвел своими руками. Был он плотник и сборщик хвороста. Однажды утром ушел этот человек в поле и целый день не возвращался. К вечеру, когда уже сгущались сумерки и тьма стала подниматься из низин и расселин скал, заливая пустыню и склоны гор, когда издалека было слышно жужжение однокой пчелы, встала у входа в шалаш его маленькая четырехлетняя дочь по имени Яакова и, глядя на скрещение троп, замерла в ожидании отца. Но он все не шел, все не возвращался, и она горько заплакала...

В те дни устанавливалась новая власть — власть кохенов, возникшая совсем недавно, всего несколько недель или месяцев назад, но была она еще недостаточно прочной, не успела окрепнуть,

и сообщество кохенов, князей, служителей и надзирателей постоянно стремилось с помощью всевозможных ухищрений укрепить и усилить ее. В небе и на земле были явлены знамения и чудеса, чтобы пленить народное сердце. Однако народ, глядя на все это, не особенно впечатлялся и лишь пожимал плечами. Постановления и законы доставлены были с небес на землю, дабы новый народ был отмечен и отличен от других народов, но слушал народ все эти новые постановления и законы, слушал — и забывал. Были даны обещания и сказаны необходимые слова, добрые и верные, дабы вселить в сердце народное надежду на будущее, но народ стоял в отдалении, слушал-слушал — и не верил. Тогда решено было обращаться с народом по-иному — принуждая его силой и сурово наказывая непокорных, — и шумный ропот, подобно бурной реке, прокатился вдруг по всему стану, от края до края.

От края до края всего стана проходили кохены, и левиты, и надзиратели, облеченные властью, и у каждого шатра, у каждого шалаша провозглашали новые вести о новых законах. Но народ был все еще свободен, как ветер пустыни, могучий и крепкий, его еще не сокрушил тяжкий молот власти, и хоть уши внимали словам Учения, но сердца народного они не касались.

Но вот провозгласили новый закон: "Шесть дней трудись и работай. День же седьмой — священный, суббота Господня, и всякий, кто работает в этот день... да будет предан смерти¹⁵". Да неужели? Прямо таки "предан смерти"? Народ, услышав об этом, только смеялся.

И молодой кохен, над правым ухом которого не просох еще елей помазания, полногласно присоединился к глашатаю и добавил:

— Не разжигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний¹⁶.

А вслед за ним вышел к народу рослый и толстый кохен в белом затейливом головном уборе, в роскошной накидке с кистями на краях, и заговорил тяжелым басом:

— И субботы Мои соблюдайте, ибо это знамение между Мной и вами во все поколения ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас... Всякий, кто осквернит субботу, — да будет предан смерти: каждый, кто станет работать в этот день, — истреблена будет душа его из среды народа своего... Всякий, кто станет трудиться в день субботний, — да будет предан смерти.

А народ слушал и не верил: кого это, ни с того ни с сего, предадут смерти? И кто предаст? И за что?!

И изнеженный белокожий левит, с очень пухлыми ухоженными руками и холеными ногтями, с тяжелой, густой, словно лес, гривой рыжих кудрей, выступил вперед и добавил:

— Пусть же соблюдают сыны Израиля субботу... Между Мною и сынами Израиля это знамение навеки, потому что в шесть дней создал Господь небо и землю, а в день седьмой — отдыхал.

И народ разошелся, недоуменно пожимая плечами.

И вот однажды, в одну из суббот, стоял в поле человек, низко согнувшись, будто искал что-то на земле и все никак не находил. Но вот он выпрямился, поднял голову: у него было очень бледное лицо, впалые щеки, тронутые синевой губы. Какие-то люди, заметив его издали и подойдя к нему, узнали его: это был Гог бен-Бехер, сборщик хвороста, но еще через мгновение он снова наклонился низко к земле, как прежде, и тогда

все увидели, что он собирает с земли хворост, — и схватили его.

Гог не понимал, чего от него хотят. Почти не поднимая головы, он тихо и нетерпеливо прошептал:

— Пожалуйста, братья, не мешайте мне. Времени мало. Мне необходим хворост...

Его слабый, сдавленный голос вызывал сострадание у окружающих.

— Но ведь сегодня суббота! — воскликнули эти люди.

Гог слушал их, не понимая, о чем речь. В последнее время он слышал это слово несколько раз, но начисто забыл, что оно означает. Он на-морщил лоб от напряжения, пытаясь вспомнить.

Пока вели его во двор, что перед скинией собрания, он не переставал удивляться. Почему вдруг ведут его сюда, на этот двор? Ведь он должен идти домой, к жене и детям, там его уже ждут. В глубине двора он увидел двух откормленных коров, привязанных к рогам жертвенника, — животных заблаговременно доставили сюда задолго до прихода главного кохена, который должен принести их в жертву перед наступлением сумерек и окропить их кровью рога жертвенника семикратно. Коровы стояли, безмятежно пережевывая жвачку. Косые лучи солнца позолотили их рога, одев предзакатным сиянием, и коровы благодушно мычали от удовольствия. Те же лучи золотили и макушку Гога, проникая сквозь его растрепанные волосы.

Вечерние тени легли на двор скинии собрания, когда люди привели с поля Гога бен-Бехера, и лица сидевших у входа во двор молодых надзирателей, служителей и юношей-писцов выражали недовольство, поскольку их покой был нарушен. Лениво и неохотно приступили они к допросу: "Имя?" — и он ответил; "Род занятий?" — он ответил; "К какому колену принадлежишь?" Гог бен Бехер, услышав этот вопрос, внезапно забыл, из какого он колена, но потом напряг память изо всех сил и прошептал: "Я из колена Звулуна"; и в это время все существо его недоумевало — почему этим людям так необходимо все о нем знать? Но вот уже обратились к нему снова: "По какой причине ты был задержан?". Однако на этот вопрос Гог ответить не успел — вместо него исчерпывающий ответ дали люди, задержавшие его в поле во время "работы" в день субботний. Чиновники были крайне удивлены столь ничтожной причиной. В знак удивления они поднимали брови и покачивали головами, не видя в подобном поведении никакого нарушения Закона. Ведь всего несколькими днями ранее, ну никак не больше месяца назад, они сами, их братья или родители вели себя точно так же, и никто не вменял им этого во грех. Тогда разгневались они на людей, задержавших в поле ни в чем не повинного бедняка, тем более, что и служителям задали они напрасную работу. Несчастному Гогу велели отправляться восвояси. И он повернулся и пошел. Но не успел он покинуть пределы двора, как его поторопились вернуть обратно. Теперь среди чиновников царило уже совсем другое настроение. Один из них пожимал плечами и потирал лоб,

ибо в душу его закрались всяческие сомнения. Кто знает? Может быть, нехорошо просто так взять и отпустить задержанного. Может быть, стоит еще немного подождать, оставив его под стражей, пока не придет главный кохен или его помощник и не примет окончательное решение, как в этом случае следует поступить. Ведь как бы то ни было, до сих пор не существовало никаких четких указаний по поводу того, как полагается поступать с человеком, собиравшим хворост в субботу.

И Гога оставили под стражей, и он, почувствовав огромную усталость и не понимая ее причины, сел на землю и стал ждать, как и все остальные, и незаметно для себя заснул.

* * *

В полночь его неожиданно разбудили. Факелы на шестах, воткнутых в землю, ярко освещали двор скинии собрания. На разостланных по земле коврах вокруг него сидели люди с серьезными, злыми лицами. Они мрачно разглядывали Гога, и внезапно охватил его великий ужас. В центре собравшихся он увидел главного кохена в великолепной, богато украшенной священнической одежде; его густые темные брови грозно сходились на переносице. Он только смотрел своим пронзительным взглядом и не произносил ни слова.

И дознание началось.

Все повторилось с самого начала: "Имя?" — "Из какого колена?" — "Род занятий?" — только на этот раз все существо его содрогалось от каждого вопроса.

Но когда у него спросили, почему он совершил столь злое дело, пойдя в поле собирать хворост в субботу, — он не знал, что ответить, и лишь обводил взглядом всех собравшихся, как бы в поисках помощи. Несчастный бедняк даже не подозревал, что против него замышляют, недоумевая, почему нельзя собирать в поле хворост, и невдомек ему было, что за страшное преступление он совершил, собирая хворост в субботу. О субботе он до сих пор не имел ни малейшего представления. Он встал на ноги, дрожа от страха.

— Но ведь!.. — попробовал он возражать, но вдруг сам себя оборвал и умолк.

Потом, опомнившись, добавил как бы про себя еле слышным шепотом:

— У меня больная жена. У меня четверо детей и трое из них больны. Вот уже одиннадцать дней с тех пор, как они заболели. Дома — пусто. Соседи говорят: нищий, нищий. Ночи напролет я просиживаю перед их постелью. Смотрю на их воспаленные губы и глаза, чувствую их болезненный жар. Кажется, что вот-вот они сгорят, как в огне. А соседи говорят: им надо дать немногого горячей воды и немногого вареного мха. Мож я собрал в расселинах скал, но хвороста, чтобы развести огонь, у меня не было. Я — сборщик хвороста, но его у меня не было. Тогда я вышел в поле — собрать немногого хвороста, принести домой, жене и детям. Но эти люди задержали меня в поле, не дали мне его собрать...

Судью эти его слова ввергли в гнев:

— Когда в семье больные — зовут кохена!..

Но Гог ему ничего не ответил. Он знал лишь одно: что кохена он очень боится. Даже когда кто-нибудь поблизости упоминал этот титул, Гог внутренне содрогался. Тем более, если в доме

больные. Рассказывают, что когда кохен приходит в дом больного, он под разными предлогами может разобрать одну из стен, перекопать двор и заставить вынести нечистую землю за пределы стана, а не то — может и весь дом разрушить! Дрожь охватывала Гога при одной только мысли об этом. Он готов сделать все, что угодно, лишь бы только не вступать в отношения с этой братией.

Одннадцать дней ворочалась на постели больная его жена со вздохами, стонами и рыданиями, а дети лежали молча, охваченные болезненным жаром, чуть ли не проглатывая языки, но кохена он все же не позвал. Только обо всем этом он же не может им рассказать.

И Гог молчал, не говоря ни слова в ответ.

Следствие подошло к концу. Гог глубоко вздохнул — он был уверен, что вот-вот его отпустят, позволят вернуться к жене и детям. Может быть, еще удастся вернуться в поле и захватить с собой небольшую охапку хвороста, который он успел собрать, но бросил там, когда был задержан.

Его отвели в дальний конец двора, и судьи начали совещаться перед вынесением приговора. Первым выступил один из князей:

— Мне кажется, что мы поступим верно, если освободим и отпустим несчастного бедняка, — пусть идет, куда ему вздумается. Мелкая рыбешка попалась на этот раз в наши сети...

И другие судьи поддержали его мнение.

Однако в это мгновение обрушился на них, не вставая с места, главный кохен, Пинхас бен-Эль-азар. Его густые брови нахмурились и стали еще гуще и грознее прежнего.

— Нет! — даже не проговорил, а прокричал

он. — Ни в коем случае! Я этого не допущу! Осквернена была суббота Господня, и мы обязаны однажды поступить согласно предписанному, дабы весь этот жестоковый народ узнал и уразумел, что такое суббота и каково ее значение для нас! Судьба этого человека станет грозным предостережением для всех нарушителей Закона, дабы весь народ, от края и до края стана, услышав и узнав о его судьбе, убоился и не посмел бы впредь совершать подобные злодеяния. Этот человек будет предан смерти....

Прочие же судьи выразили сперва осторожное удивление, но спустя лишь минуту все они уже поддерживали приговор главного кохена.

Тогда Пинхас бен-Эльзар встал на ноги и спокойно произнес заключительное слово:

— Именем Господа! Именем Моисея! Слушайте: в месяце восьмом, на четырнадцатый день сего месяца, проходили полем люди, выступающие здесь в качестве свидетелей, и обнаружили, что Гог бен-Бехер, из колена Звулуна, собирает с земли хворост в день субботний. Эти люди задержали его и доставили сюда, на двор скинии собрания, освященный Моисеем и Аароном и всей общиной. Они осудили его действия, объяснив ему, что он осквернил субботу, которую Господь заповедал свято соблюдать, ибо она — "знамение между Мною и вами навеки"; он совершал запрещенные в субботу действия — собирал в поле хворост, не боясь Бога нашего, который повелел строго наказывать всякого, кто совершает работу в этот святой день. Да будет этот человек предан смерти и истреблена будет душа его из среды народа своего! Именно так говорил из облака Господь Моисею: да будет тот человек предан смерти! И потому казни подлежит Гог бен-Бехер: да

забросает его камнями вся община за пределами стана. И вот я, главный кохен, Пинхас бен Эль-азар бен-Аарон бен-Амрам, повторяю эти слова снова, дабы все вы услышали и уразумели: этот человек, Гог бен-Бехер, будет предан смерти!

И все люди вокруг, все, кто слышал эти слова, подтвердили их многократным "Амен!"¹⁷

И Гог бен-Бехер неподвижно просидел под стражей всю ночь и только к утру стал содрогаться всем телом, но вскоре утих.

* * *

С первыми лучами солнца подступили к нему стражники с вестью об окончательном приговоре. "Будет предан смерти — да забросает его камнями вся община за пределами стана!"

Дурацкая улыбка блуждала по лицу Гога. Он был уверен, что с ним сыграли шутку, и потому, включившись в игру, заулыбался.

Но вот надели на него длинный, до пят, белый балахон, завязали платком глаза, чтобы он ничего не видел, и, усадив на новую повозку из четырех бревен, запряженную двумя белыми быками, вывезли его за пределы стана.

Сердце в груди его оглушительно стучало. Невозможно такое возможно? Что за преступление он совершил? Ведь у него больные жена и дети, и нищий он — беднее бездомного пса, да и вышел он в поле только, чтобы собрать немного хвороста и согреть на его огне немного воды, сварить немного мха — чтобы хоть как-то заглушить боль, мучившую его близких дни и ночи напролет...

И вдруг безмолвие прорезали звуки шофара, а

вслед за ними — гомон несметной толпы людей. И кохены важно шествовали в своих праздничных одеяниях, с колокольчиками и искусствой вышивкой. Понемногу собирались с разных концов стана все общество сынов Израиля — десятки, сотни тысяч людей.

И все они шли за пределы стана, в дальнюю голую степь, что перед бескрайней пустыней.

И звуки шофара все крепли и ширились, все громче трубили трубы, — но внезапно все обрвалось и наступила полная тишина. Тогда главный кохен Пинхас бен-Эльзар поднялся на специально для него приготовленное возвышение и обратился к собравшимся с такою речью:

— Именем Господа! Именем Моисея! Так следует поступать с осквернителем субботы, ибо дана она нам в знак завета между Господом и нами, на все поколения наши. Тот, кто не соблюдает субботу, — будет предан смерти и истреблена будет душа его из среды народа своего. Всякий, кто работает в субботу, — будет предан смерти! И потому смерти подлежит Гог бен-Бехер, осквернивший субботу, ибо так повелел Господь через Моисея!

Народ слушал его речь, объятый страхом.

И все общество сынов Израиля, от мала до велика, восклицало: "Да будет предан смерти! Да будет предан смерти!" И все они возглашали эти слова в один голос — и мужчины, и женщины, и дети.

И была там одна девочка, которая пришла последней. Она чуть не опоздала — ей надо было идти издалека, она сидела со своей больной матерью на другом конце стана. Это была маленькая Яакова. Когда наконец добралась она до судилища, уже большая груда камней высыпалась над

землей, и человек, которого ими забросали, был уже мертв.

Но она не понимала, что происходит, и невдомек ей было, чье тело лежит под камнями.

И девочка тоже подобрала с земли несколько небольших камней и бросила их в общую груду.

БУНТАРЬ

Это произошло на второй год после исхода сынов Израиля из Египта, во второй месяц этого года, в первый день месяца, когда народ расположился лагерем около Риммон-Переца. В тот день с самого утра проходили по всему стану надзиратели с копьями наперевес, каждого надзирателя сопровождал кохен, и так они расхаживали от одного скопления шатров к другому, поднимались на высокие скалы и на вершины холмов и, возвышаясь над всем народом, обращались к нему с громогласным призывом:

— Все израильтяне двадцати лет и старше обязаны явиться на пустырь в Мицпе! Там состоится всеобщая поголовная перепись. Все взрослые израильтяне, начиная с двадцати лет и старше, будут внесены в книгу военнообязанных.

Когда надзиратель завершал свою краткую речь, за ним выступал кохен, для пущей важности раскинув руки в стороны и закатив глаза к небу, и добавлял следующее:

— Но если кто возвел шатер и до сих пор не спрavил новоселья, — тот призыву не подлежит, ибо должен заняться своим шатром; и если кто засеял свой участок земли, но до сих пор не собрал урожай, — тот призыву не подлежит, ибо он должен собрать первые плоды земли; и если кто

обручился с невестой, но свадьбы еще не было, — призыву не подлежит, ибо обязан ждать год от обручения до свадьбы. Амен, амен!

И тогда со всех концов стана явились юноши и мужи Израиля, все до единого, и было записано в книгу в тот день шестьсот три тысячи пятьсот человек военнообязанных.

Лишь один юноша среди всего общества сынов Израиля оказал сопротивление надзирателям и наотрез отказался, чтобы его имя внесли в список военнообязанных.

Целый день расхаживал он по стану, от одного скопления шатров к другому, и роптал на властителей народных, на Моисея и Аарона, выражал недовольство их указами и оскорблял их, подстрекая народ сопротивляться требованиям властей и уклоняться от воинской повинности: "Какая нам польза от служения Моисею и Аарону? Что нам этот Моисей, который ни с того ни с сего возвысил себя над нами только для того, чтобы приказывать нам беспрестанно; и брат его Аарон — кто он такой, чтобы по воле Моисея быть над нами кохеном? К чему нам армия? Ради чего мы должны воевать? Для чего человеку восставать против себе подобных, убивать их и проливать кровь понапрасну? Не пойдем в армию! Не пойдем! Не пойдем!" Люди спрашивали друг у друга, кто этот юноша и кто его родители, и выяснилось, что зовут его Кехат бен-Пагиэль, а отец его — князь во Израиле, из великих князей общины, заседающих в скинии собрания, а мать его — хеттеянка по имени Деворит. Услышав это, люди качали головами: "Ах, вот он кто! Конечно же, это Кехат. Кехат бен-Пагиэль и никто иной, тот самый Кехат..."

В те дни пустыня была десятикратно безжа-

лостнее и страшнее по сравнению с днем сегодняшним; скалы были враждебней и круче во стократ, а человек был отважней и жесточе, любил бунты и восстания и ненавидел любое бремя и принуждение в тысячу крат сильнее, чем сегодня.

Об этом юноше рассказывали чудесные и странные, а иногда и страшные истории: "Парень он шалый и не знает никаких нравственных границ, когда дерзкое сердце толкает его на своееволие и произвол, — и все-таки нет во всех селениях израильских никого, кто был бы подобен ему по добросердечию, благородству и глубине сострадания к ближним, будь то обездоленные, голодающие или больные. Перед кохеном он не встанет, и пророк ему не указ, и князья ему отвратительны, и святость он считает лишь обманным прикрытием, подлой ложью, под предлогом которой власть имущие отбирают последнее у бедняков. И в то же время еще ребенком, когда ему не исполнилось и восьми лет, он как-то раз увидел перед вечером почти нагого юношу-бедняка и, не в силах совладать с внезапным порывом, поспешил накинуть ему на плечи свой плащ, но потом убежал от него что есть духу, не оглядываясь, ибо стыдился доброго своего поступка. Жесток он, тверже кремня в любом столкновении с властью имущими в народе своем, с князьями и прочей знатью. Но вот однажды он стоял у входа в скинию собрания, когда какая-то женщина передала кохену для жертвоприношения двух голубят, и тот, под отчаянный писк одного из птенцов, свернул ему голову и рассек пополам, — в это время глаза Кехата наполнились горькими слезами. И бывало, что стоял он неподалеку от жертвенника, когда кто-нибудь приносил для предвечерней жертвы корзину с хлебами, халами

и пирогами из отборной муки, и он подкрадывался незаметно к этому человеку со спины, выхватывал из корзины хлеб свежей выпечки и убегал что есть духу со своей добычей, прежде чем она достанется кочену, и тут же отдавал краденое первому встречному бедняку. А когда Кехату напоминали, что существуют постановления и законы, Тора и вера, заповеди и повеления о том, как дозволено поступать человеку и как запрещено, он лишь скрипел зубами и проклинал все на свете: "Да ведь это презренные властолюбцы навыдумывали всю эту чепуху, чтобы на каждом шагу ограничивать честных людей, чтобы лишить их свободы, котораядается им по праву рождения".

Рассказывали о нем и страшное тоже: отца он не уважал и мать не любил, и когда отец отчитывал его за недостойное поведение, как и надлежит отцу, занимающемуся воспитанием сына, он отвечал ему перед всеми рабами и служанками: "А кто просил тебя следовать позывам собственной похоти, чтобы после этого появилась на свет живая душа, лишенная всякого смысла и цели, обреченная на тоску пустопорожней жизни? За плотские ли наслаждения твои, в результате которых ты зачал меня, чтобы бросить в хаос и беспросветность этой жизни, за них, что ли, мне благодарить и уважать тебя?" Позже пришло время, когда он запустил руку в отцовскую казну, беря оттуда что под руку попадется, да и богатство матери расхищал он, воруя дорогие платья и драгоценности; и всю эту свою обильную добычу раздавал он голодным, больным и нищим; а когда его обвиняли в краже и присвоении чужого имущества, глаза его пылали гневом и он кричал: "Нет никакого имущества и нет собственности, ни у кого нет права владения всем этим! Все, что

есть на земле, дано во владение всем ее обитателям, и каждому позволено протянуть руку и взять все, что пожелает! Нагим рождается человек, нагим возвращается он во прах земной!" И однажды, когда снова порицал его отец, Кехат не смог совладать с собой и проклял отца, и на мать поднял руку...

Но внезапно все в нем переменилось, он перестал бродить целыми днями в мрачном состоянии духа, видеть во всем дурное и вечно жаловаться на судьбу. Он начал напропалую радоваться жизни. Есть и пить, братья, лишь только есть, пить и наслаждаться всеми плодами каждого мгновения! Завтра умрем, а сегодня — будем наслаждаться! Нет в мире ни смысла, ни цели, нет и загробной жизни, и потому нет ничего лучше для человека, чем есть, пить и упиваться всеми благами мира сего... И вот стал он обжорой и пьяницей, позабыл об ужасной нищете своей, брал у отца своего вино и брагу, резал отцовских коз, и овец, и коров, и собралось вокруг него общество легкомысленных и пустых прожигателей жизни, они ели и пили с ним дни и ночи напролет. Именно тогда он бесцеремонно выгнал девушку, которую отец предназначил ему в жены, и сделал это лишь потому, что она была из благородной семьи и носила шелка и драгоценности. Привлекали его лишь юные блудницы и нищенки, приветливые и мягкосердечные, чья плоть развернута, но душа чиста, и он бесчинствовал с ними и волочился за ними непрестанно. Его появление наводило ужас на весь стан.

Был тот юноша словно буйный северный ветер в великой степи, которому чужд закон и предел, для которого не существует препятствий. А иногда бывал он подобен дымному языку пламени,

которое вырывалось из жерла горы Синай.

Днем он расхаживал по стану, гроза всех притеснителей и вершителей несправедливости, и выговаривал им за содеянное, и сердце его было тверже кремня, а слова — непреклонны и жестоки; к ним он был безжалостен и не давал никаких поблажек, уличал их дерзко и непримиримо, отбирал у них силой все, что мог, и раздавал неимущим. А вечером, в поле, в великой степи, собирались вокруг него со своими жалобами все обездоленные: приходил раб, страдающий от плети хозяина, и рабыня, притесняемая своей госпожой, а он обращался к ним с утешительными речами, и были слова его для них целебны, словно гиляадский бальзам. Не было пророка, способного говорить красноречивее, чем он, и никто не обладал сердцем более чувствительным к бедам ближнего, чем у него, и слушатели стояли вокруг него, поглощая его речи, словно изнывающий от жажды — ключевую воду. Однако ночами, когда он оставался наедине с собой, приходили к нему видения и грэзы, какие бывают лишь у прорицателей и поэтов, — и тогда лицо его заливали слезы, видимые одним только звездам небесным.

Да, был он словно буйный северный ветер в великой степи, но сердце его было подобно солнцу — горячее, нежное, отзывчивое.

И постепенно превратились собравшиеся вокруг него обездоленные в бунтарей и мятежников.

Скудна была земля, небо — безоблачно, а дороги — пустынны. Из шатров, разбросанных по степи, из расселин и земляных пещер потянулись к нему несметные толпы, великое множество людей, облаченных в лохмотья и отрепья, чьи лица искажены страданием, а глаза пылают гневом, и все они, вместе с женами и босоногими

детьми, двинулись к скинии собрания и теснились там у входа, угрожая Моисею и Аарону, многочисленным кохенам, князьям и всегда сытым боярам — владельцам бесчисленных голов скота. Они возмущались, роптали, кричали грозные слова о том, что опостылела народу беспросветная жизнь в пустыне и бесконечные скитания. На что им сдался столп облачный и какая им польза от столпа огненного¹⁸? Ведь не станут же они есть огонь, да и облако пить тоже не станут. Ведь нет у них ни рыбы, ни мяса, и овощей никаких тоже нет, — даже нет того лука и чеснока, что были у них в Египте. Нет, не в землю, текущую молоком и медом¹⁹, как было обещано вначале, привели их, а в безводную страшную пустыню, чтобы погубить здесь их всех, одного за другим. Никаких земельных наделов — ни полей, ни виноградников — не получили они, а ведь это было им клятвенно обещано еще до начала исхода из Египта. Пустые слова! Но и этого мало, объявились вдруг люди, претендующие на власть и господство, стали издеваться над ними и притеснять их нещадно. Но и этого недостаточно! Собралась свора кохенов, сборище лентяев, которые целыми днями ничем иным не занимаются, лишь пожиранием живой плоти народной, и последний кусок выхватывают изо рта и присваивают себе, а несчастный народ вынужден эту свору кормить, отдавая бездельникам десятинный налог²⁰, да и не только десятину, но и все девяносто девять долей из ста от всего, что у него есть...

На возвышении у порога скинии собрания стоял Моисей — человек, избранный Богом. Он был очень бледен. Никогда прежде ему не приходилось слышать столь тяжелых обвинений из уст народа, никогда ранее народ не бунтовал подоб-

ным образом, заявляя, что его просто-напросто обирают, грабят. В полной тишине произнес он еле слышным голосом:

— Ни одного осла я у них не взял...

— Ясное дело, не одного, а многих! — отвечал ему грубый голос из толпы собравшихся. Люди принялись искать глазами говорящего и оказалось, что это Кехат бен-Пагиэль.

Моисей не проронил ни слова в ответ, но как-то поник и вдруг — пал на лицо свое.

Вместо него ступил на возвышение главный кочен и продолжал в том же духе:

— Чьего вола я присвоил?..

— Вола Завада бен-Ярха и вола Регеа бен-Мерари, и вола Эвьясафа бен-Махали, и вола...

Все обратили взоры к говорящему: то был Кехат бен-Пагиэль.

Но кочен не обратил на его слова ни малейшего внимания, нисколько не огорчился, и речь его лилась настолько свободно и умиротворенно, как если бы он добросовестно заучил ее наизусть.

— ...у кого взял я осла, кого обобрал и кого притеснил, у кого взял выкуп?..

— А кто отобрал осла у Эльяшива бен-Малкии? И кто обобрал вдову-моавитянку по имени Эйфа бат-Хаттуш? Кто взял выкуп у раба-арамеянина Зифа бен-Газеза? Знаем мы тебя, ох, знаем! Да и цену этим твоим словам тоже отлично знаем!

И снова все посмотрели на говорящего: то был опять Кехат бен-Пагиэль.

Несколько надзирателей показались вдруг из толпы и принялись расхаживать поблизости от говорящего, пристально разглядывая его, чтобы как следует запомнить его лицо.

Однако Кехат бен-Пагиэль подступил в этот

момент к самому порогу скинии собрания, чтобы обратиться оттуда к народу и чтобы все его видели. Рядом с ним стояла босая нищенка, одетая в грубое вретище. Юноша заговорил, и были слова его словно ножи обюдоострые:

— Смотрите, вот перед вами вдова! Не мне рассказывать об ужасной ее нищете — о том повествует ее изможденное лицо! Не мне описывать, как она страдала от голода, — ее худоба говорит сама за себя! Но все же позвольте мне рассказать вам кое о чем: одна-единственная овца досталась ей в наследство от умершего мужа, и лишь успела бедная нищенка остричь шерсть, как явился к ней в дом проходивший мимо кохен и забрал все настриженное руно, говоря: это принадлежит мне, а когда она обрушилась на него с криком и обвинениями в грабеже, он ей заявил: я поступаю согласно закону, ибо так повелел нам Моисей: "Первую стрижку овец твоих отдай Ему"²¹. И несчастная женщина не стала отчаиваться: овца была на сносях и вскоре разрешилась от бремени нежным шелковистым ягненком. И вот, когда это случилось, тот же кохен явился к ней в дом и забрал ягненка, говоря: он принадлежит мне, а когда вдова закричала на него пуще прежнего, возмущенная бесстыдным грабежом, он ей ответил: таков закон, так повелел нам Моисей: "Всех первородных детенышней-самцов, что родятся от крупного и мелкого скота, посвящай Господу, Богу твоему"²². Тогда поняла она, обобранная, что нет у нее иного выхода, и зарезала овцу. Но и это ей не помогло, ибо тотчас же явился кохен и отделил для себя от туши плечо, челюсти и желудок и все лучшее мясо тоже взял себе, и возвел очи горé, и сложил молитвенно руки, и произнес: таков закон, ибо так повелел нам Моисей, учи-

тель наш, Богом избранный, говоря: "Должно отдавать кохену плечо, челюсти и желудок"²³. Вдова стояла, беспомощная, и лишь содрогалась от бессильного гнева. И она произнесла такое заклятие: "Да будет мясо этой овцы заклято для всех, кто пожелает отведать его или даже прикоснуться к нему, и для меня в том числе". Но тем самым она только больше себе навредила, ибо не замедлил явиться кохен и забрал всю тушу, говоря: таков закон, так повелел Моисей: "Все заклятое во Израиле — Твоим будет"²⁴, что означает — станет собственностью кохена!

Ропот возмущения прокатился по всей взъяренной толпе, от края и до края.

В это время главный кохен, скрывавшийся за возвышением, что у входа в скинию собрания, дал знак князьям, князья — старейшинам, старейшины — судьям, судьи — надзирателям, и надзиратели вошли в толпу...

А вечером того же дня собирались вместе все кохены, князья, старейшины, судьи и надзиратели и князя Пагиэля бен-Охрана, отца юноши, тоже пригласили. Совещание затянулось на долгие часы, и расходились собравшиеся уже после полуночи.

О чем они совещались — никто не знал, однако князь Пагиэль уходил домой с явной дрожью в коленях и заметно осунувшимся лицом. Лишь в последний момент, уже на пороге шатра, он остановился, собрался с силами и сказал тихо, как бы про себя. "Это мой долг перед народом, и я его исполню. Пришло время исполнять указанное Богом. Чего стоит отцовская жалость по сравнению с высшим долгом человека перед своим народом и его Богом?"

Столп облачный шел перед народом днем, и столп огненный — ночью. Солнце вставало и заходило. Народ устал роптать и утих. Все снова стало по-прежнему. Иногда еще вздыхали люди то тут, то там — от страданий, выпавших на их долю, но и эти вздохи скоро смолкли. Народ по-немногу забывал свои жалобы и тяготы, убеждаясь в конце-концов, что не так уж плохо ему живется под игом власти. Изнурительный жар рас текался призрачным маревом по желтому песку пустыни, и дымились от зноя неровные зубцы скал. Бескрайнее небо серело и, наливаясь свинцовой тяжестью, грузно ложилось прямо на теряющий первозданную желтизну песок.

Небольшое сборище возмутителей спокойствия прекратило свои роптания, но все еще оставался один среди них, представлявший собой постоянную опасность. Этот может возмутить темный народ, когда ему только вздумается.

Но вот взволновался весь стан от неслыханной доселе вести.

Произошло вот что. Однажды утром князь Пагиэль бен-Охран и жена его, хеттеянка Деворит, представали пред старейшинами, что восседали, как обычно, на своих местах и вершили правосудие. Но мало того, что пришли они сами, — они и сына своего, Кехата бен-Пагиэля, привели с собой. И не по доброй воле его привели, а со связанными руками и в сопровождении многих надзирателей, да и сброду вокруг толпилось немало.

И князь Пагиэль молчал, ни слова не произнес, а говорила только жена его, хеттеянка Деворит:

— Этот Кехат, сын Пагиэля и мой тоже, — не кто иной, как строптивый бунтарь. Да будет про-

клята та ночь, когда я забеременела им, и да будет проклят тот день, когда я его родила! Горе мне, если расскажу обо всем, и горе мне, если умолчу! Так знайте же: сын этот наш — нас не слушается. Позавчера поднял руку на мать — хотел ударить! — а вчера проклял отца. Он обжора и пьяница, шляется с оборванцами и якшается с блудницами. Мы учили его, наставляли, наказывали, но ничему он не научился. И вот мы здесь. Мы его схватили, связали и привели к вам.

Пагиэль, пока говорила его жена, был бледен, и взор его был устремлен долу. Глаза же его жены светились необузданной и непостижимой страстью, а изо рта брызгала слюна; перед глазами тех, кто смотрел на нее, внезапно вставало видение хеттеянок, пожирающих собственных детей и облизывающихся от удовольствия.

От жертвоприношения утреннего и до вечернего, получать свою долю в котором уже собирались кохены, пока целых восемь делений не прошла тонкая теневая черта на плоском камне солнечных часов²⁵, — все это время совещались судьи-старейшины и наконец вышли объявить свое заключение:

— Таков суд Божий: всякому сыну буйному и непокорному, который не слушается ни отца, ни матери, бьет мать и отца проклинает, — положен смертный приговор. Да забросают его камнями все жители селения его, дабы истребить это зло из среды своей. Первый камень пусть бросит в него мать...

Пагиэль побледнел значительно сильнее, чем прежде, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Жена же его, услышав приговор, порозовела от удовольствия.

Некоторое время спустя надзиратели вывели

юношу из шатра, где он пребывал во временном заключении до вынесения приговора, и повели его за пределы стана, в поле, и потянулась за ними бесчисленная толпа, где были и мужчины, и женщины, и дети.

Трубят трубы и шофары, грохочут барабаны, все громче шум, все сильнее неразбериха. Словно пьяный дурман охватил весь стан. Народ почуял запах крови, кровавое вожделение разверзлось перед ним, будто преисподня.

Кехат шел невозмутимо, с гордо поднятой головой, но вдруг заметил среди толпы и тех людей, которым он всегда так старался помочь, — всех тех больных и страждущих, голодных и несчастных, — и на мгновение кровь его похолодела. Тогда он перестал держаться прямо.

Когда пришли на место, напялили на него очень длинный белый балахон, укутавший его с головы до пят, и глаза завязали платком, чтобы он ничего не видел, и уложили его лицом вниз.

А народ нес камни со всех сторон, и голодные, несчастные, нищие, страждущие, рабы и рабыни — все они тоже несли камни.

И первый камень, жарко раскрасневшись, бросила в него мать, хеттеянка Деворит.

А второй камень метнул в сына князь Пагиэль бен-Охран, но рука его дрогнула.

За ним подошла девушка, которая все еще считалась невестой Кехата, хоть и была им отвергнута...

Была там и одна малорослая служанка по имени Кетура, из челяди Пагиэля бен-Охрана. Она попыталась оттолкнуть в сторону богатую и роскошно одетую девицу, ибо чувствовала бедная рабыня, что ей этот человек, лежащий на земле, несравненно дороже, чем всем другим.

Однако благородная отвергнутая невеста все же приблизилась плавным и непоколебимым шагом, нежная и грациозная в своей изысканной цветной накидке, и бросила изящной своей рукой третий камень в лежащего.

И тогда начал бросать камни весь народ, и полетел со всех сторон град камней, и постепенно образовалась высокая груда. В первые минуты еще слышались из-под камней рыдания, а потом — только короткие редкие вздохи, приглушенные, неясные, но вот и они умолкли.

Малорослая Кетура опустилась на землю и, словно охваченная безумием, попыталась быстрой рукой ловить камень за камнем или отводить их полет в сторону, — но разве достаточно было скучных ее сил, чтобы противостоять всем собравшимся?

Трубят и трубят трубы и шофары, гремят барабаны, все оглушительнее шум, все гуще неразбериха.

Но внезапно воцарилась полная тишина. Солнце жжет нещадно. Большая груда камней высится над землей.

И главный кохен, стоя гордо и прямо, вознеся ладони к небу, произносит:

— Так надлежит поступать с человеком, который не слушается отца и не повинуется матери.

Кохены и левиты, и сыновья кохенов и левитов, обращаясь друг к другу, восклицают:

— И истребиши ты зло из среды своей! И истребиши ты зло из среды своей!

И старейшины подхватывают вслед за ними:

— И все израильтяне услышат и убоются!

Малорослая Кетура стоит в растерянности в отдалении, глаза ее блуждают, а уста онемели, — она не понимает, что произошло...

НЕВЕРНАЯ

Когда израильтяне поселились в Бней-Яакане, на тридцать четвертом году после исхода из Египта, в первые дни по прибытии их в эту местность, когда разбивали там они шатры свои, был среди них один человек по имени Иэзер бен-Махир, и было у него шесть жен. И вот пошел в те дни этот человек в Эцион-Гевер и увидел там девушку, которую звали Шифра бат-Серед, и пожелал он взять и ее тоже себе в жены, но она ему отказалась. Тогда он вернулся домой, угрюмый и молчаливый, и попытался найти утешение у своих шести жен, но безуспешно. Лицо его осунулось, день ото дня он становился все грустнее и почти все время молчал. Спустя две недели он снова отправился в Эцион-Гевер и продолжал уговаривать девушку, но она ему отказалась и на этот раз. Домой он вернулся печальным и озлобленным, и шесть его жен не могли его утешить — ночами сон отлетал от глаз его, и днем он смотрел на мир остановившимся невидящим взглядом. Тогда спустя еще две недели пошел он снова в Эцион-Гевер и уговаривал ту девушку три дня и три ночи, но не согласилась она пойти с ним и на этот раз. Что поделаешь, оседлал он осла и вернулся домой, мрачный и угрюмый, и стал проводить время в шатрах своих

жен и днем, и ночью, не произнося ни слова, но становился все бледнее, плоть его таяла день ото дня, так что лишь кожа да кости остались, и вид его вызывал жалость. И вот однажды утром он взял да и выгнал всех шестерых своих жен сразу, составил для них разводные грамоты и отправил их вон из дома, чем вызвал немалое удивление у всех соседей, ибо никогда раньше не случалось подобного во Израиле, чтобы человек взял да и развелся с шестью своими женами в один и тот же день. И в тот самый день, не откладывая, повесил он на плечо свой лук и отправился к той девушке в Эцион-Гевер. Он рассказал ей о том, что расстался со всеми женами, заплатил за нее выкуп (восемьдесят волов, двадцать верблюдов и сто тридцать сиклей серебра), и девушка отправилась с ним в путь и стала его женой. Поняв, что он развелся со своими женами ради любви к ней, она тоже крепко полюбила его и души в нем не чаяла, и с каждым днем любовь ее росла. И в самом деле, чтил ее муж, словно божество: окружил ее рабынями и целой свитой девушек-служанок, и она властвовала в доме его, словно царица.

А народ в Бней-Яакане, завидев новую жену Иэзера бен-Махира, дивился ее прекрасному стану и грациозной походке и, даже не видя лица ее, скрытого покрывалом, застывал на месте, пораженный ее красотой. Так и стояли люди остолбенев, глядя на нее с разинутыми ртами. Когда же возвращался к ним дар речи, они говорили друг другу: так вот в чем дело, вот где скрыта разгадка его поступка! Нисколько не удивительно, ради такой женщины может выгнать человек не только шестерых, но и тысячу прежних жен. А кто-то еще добавил: "Я бы и сам не то что выгнать, а

и убить готов был бы десять тысяч жен в один день, лишь бы только провести с такой девушкой хотя бы одну ночь!" И действительно, удивительны были ее фигура и весь облик, а мгновения, когда она поводила нежной рукой или невзначай обнажала при ходьбе маленькую ступню, были воистину прекрасны. Подобная красота достается лишь одной из сотен тысяч, и ступать столь грациозно может лишь подлинная царица.

Полыхнут ли из-под покрывала жарким огнем горящие ее глаза, блеснет ли улыбчивой белизной ровный ряд зубов, прохожие останавливались, словно слепотой пораженные.

Во всем стане лишь одному человеку оставалась неведомой красота той женщины, и этим человеком была сама Шифра, наивная в своем неведении, как маленькая девочка. Она все недоумевала, почему это собирается вокруг нее толпа, стоит лишь ей ненадолго выйти из дома, не понимала, что вокруг нее происходит и почему все так смотрят ей вслед. И постепенно до того стало ей это невмоготу, что она боялась выйти из дома. Так и сидела она одиноко в своем шатре, непрестанно размышляя о муже и ожидая его прихода. Когда он не возвращался к положенному сроку, охватывала все ее существо внезапная тревога, и она стояла перед плетеным пологом, закрывающим вход в безмолвный шатер, прятала лицо в тугое переплетение нитей полога и беспрестанно прислушивалась к приглушенным голосам вдали — может быть, ей удастся различить звук его приближающихся шагов, — но вдруг раздавался собачий лай и заставлял ее отпрянуть назад.

Бывало, что бездеятельное одиночество становилось невыносимым, и тогда она приказывала принести веретено и маленькую прялку, которые

захватила с собой из родительского дома, и она пряла потихоньку нежными своими пальцами тончайшую нить для вышивки, пряла — и снова размышляла о муже. Порой веретено жужжало проворно и весело, и мысли ее тоже веселели и становились светлее, а иногда гудело оно тяжело и тоскливо, и темной тяжестью ложилась на сердце безысходная тоска. А бывало, что в сумерки, когда тьма сущалась все плотнее и плотнее, а яркая лучина еще не освещала шатер, но лишь бледно мерцал маслянистый огонек глиняной плошки, отбрасывая на стены длинные летучие тени, — черные извивающиеся языки теней поражали ее великим ужасом, и тогда мысли ее устремлялись к Богу и бесчисленным чудесам Еgo.

А была она женщина очень богобоязненная, ибо в этом духе воспитали ее родители. Тогда вспоминала она все то страшное и чудесное, о чем когда-либо слышала из уст матери и кормилицы, обо всех великих и страшных деяниях кохенов и чудесах их, — и сердце ее леденело от страха. Временами доносились из-за холмов наводящее ужас уханье голодных сов, и она вспоминала, как еще девочкой слышала от матери рассказ о дымящейся горе Синай. Мать стояла перед той горой, и из жерла горы, словно из печи огненной, вырывались черные клубы дыма, и вдруг вся огромная гора сорвалась с места и взмыла в небо²⁶, а пустыня отпрянула назад и пропала, и исчезло все вокруг, и свирепый волк вдруг улегся у ее ног, ласковый, словно ягненок, который отныне и вовеки не обидит даже мухи, — и весь народ пал на лицо свое от охватившего его великого ужаса.

А иногда вспоминала она рассказы кормилицы о кохенах: стоило какому-нибудь человеку про-

гневить хотя бы одного из них, как сразу же являлись неведомо откуда ядовитые змеи и жалили этого человека насмерть, — кормилица сама это видела. И еще вспомнились ей слова отца о том, как несколько лет назад собралась большая толпа бунтарей под предводительством Кораха²⁷, и принялись они роптать на Бога и на Его избранника Моисея и на кохенов, но не успели они высказать и малой доли своих жалоб, как земля разверзлась у них под ногами, образовав бездонный провал в две тысячи локтей шириной и в две тысячи локтей длиной, и поглотила земля всех тех людей живыми, их самих, и дома их, и весь скот их, и имущество, и все семьи их вместе с челядью, а все очевидцы этого события бросились бежать оттуда что было духу, и бежали они в пустыне целый день и половину ночи, — и отец ее сам был среди бежавших. Лишь один шаг отделял его от бездонной пасти разверзшегося в земле провала. Крупная дрожь охватила Шифру при воспоминании о том ужасном событии, потом всю ее сковало неодолимое оцепенение — она попыталась встать, но не смогла даже пошевелиться. Но вот, совершив над собой почти невозможное усилие, она все же встала и глубоко поклонилась в сторону входа в шатер.

В тот же миг показалось во входном проеме лицо Иэзера бен-Махира, и осветилось все вокруг, и на душе у нее тоже стало светло. Она бросилась к нему на шею, стала обнимать и целовать в великом смятении чувств, а он недоумевал, что с ней случилось. Но уже минуту спустя она позабыла свои страхи и наводящие ужас видения, все они стерлись из ее сознания без следа, и она смеялась, словно маленькая девочка.

А в Бней-Яакане происходило в это время в народе большое движение — там готовились к возведению скинии Завета, и народу собирались все больше и больше: семьи из рода Гершона²⁸ несли пологи скинии Завета и покровы ее, и покрывала из драгоценной кожи, завесы ее и занавесы двора; а сыны Мерари несли вслед за ними брусья скинии и скрепы ее, столбы ее и подножия ее, колья и веревки — работы было очень много, и удары молота и скрип клиньев не стихали целый день. Потом спустилось на скинию облако и объяло ее тьмой, и окутывало ее весь день, а ночью объял ее столп огненный, — и устрашился весь народ вокруг. И приносил народ многочисленные жертвы: отборную муку с елеем и ладаном, хлебы, халы, хлебцы и пироги, смешанные с елеем или помазанные им, горлинок и голубей, а также крупные жертвы — коров, овец или коз.

Вот и Шифра бат-Серед, жена Иэзера бен-Махира, пришла вместе с другими ко входу в скинию и жертву свою принесла с собой: откормленную горлинку, из лучших ее и очень любимых ею горлиц. Она подошла к кохену, что стоял у входа в скинию собрания, но тот заставил ее ждать, пока не прошли все другие люди. Тогда он принял из рук ее жертву и провел ее прямо к жертвеннику. На ней была одежда из драгоценных красноватых кож, скрепленных на пояссе серебряной застежкой, а лицо ее было скрыто темным покрывалом.

Пропустив Шифру перед собой, кохен шел за ней очень медленно, как бы считая шаги. Вдруг остановился совсем и обвел ее стройную фигуру долгим взглядом. Но, быстро опомнившись, он

вернулся к отправлению службы. Точным, уверенным движением опытных рук он надсек горлунке шею. Одно лишь мгновение птица билась в его руках, и вот он уже спокойно принялся возжигать курение на жертвеннике. Но вдруг оторвался от своей работы:

— Дочь моя! — произнес он, — откинь покрывало. Нехорошо приносить жертву, сокрыв лицо.

Женщина смиренно повиновалась ему — ведь это веление самих Божьих уст — и, не мешкая, открыла лицо. В этот момент густоту облачного сумрака прорезал внезапный свет, и кохен на мгновение как будто смутился...

Но лишь на одно мгновение и тут же спокойно продолжил служение. Держа птицу в левой руке, правой он медленно отделил ее зоб вместе с перьями. Женщина стояла рядом, низко склонив голову.

Вдруг она что-то почувствовала и, не понимая в чем дело, подняла глаза. Кровь бросилась ей в лицо, и она густо покраснела — кохен смотрел на нее во всю ширь своих глаз; взгляд его пылал, как факел, он впитывал с необузданной страстью каждую черточку ее лица. Такого взгляда она не видела никогда в жизни!

Между тем, кохен не прерывал служения. Птичий зоб вместе с перьями он бросил подле жертвенника, у восточной его стороны, туда, где лежал пепел. Но ей показалось, что рука его слегка дрогнула. Наверняка только показалось. Вот он очень медленно и невозмутимо рассек птицу между крыльями. Но в этот момент рука его как будто случайно коснулась ее руки, и дрожь пробежала по всему ее телу.

Теперь кохен, не говоря ни слова, торопился довершить свое дело, и лицо его было мрачно и

суроно. Ловко надломив птицу между крыльями, но не разделяя ее на две части, он воскурил ее на жертвеннике, на дровах, объятых огнем. Огонь страстно лижет сгорающую дотла жертву — и служение окончено.

Словно тяжкий камень свалился с ее сердца, хотя она и не понимала, почему. В великой поспешности устремилась она к выходу, не оглядываясь назад, торопясь уйти, и кохен не задерживал ее, но, когда их разделяло всего несколько шагов, бросил ей вслед:

— Дочь моя! Ты грешная женщина и обязана принести очистительную жертву за грехи. Господь желает, дабы ты приносила ее еженедельно...

Вернувшись в тихое одиночество своего шатра, она сидела безмолвно, словно немая, беспрестанно размышляя о случившемся. В какой-то момент она решила поведать обо всем мужу, но не знала, что именно следует ему рассказать, ибо, в сущности, ведь ничего не произошло. Но на следующий день она успокоилась и обо всем забыла.

С тех пор каждую неделю отправлялась она приносить жертву всесожжения и жертву очистительную, как и было ей велено. А кохен от недели к неделе мечтал о ней все неистовой, но она не сознавала этого и не замечала.

И вот однажды, когда поблизости никого не было, кохен, стоя рядом с ней около жертвенника, что у входа в скинию собрания, приносил ее жертву: рассек голубю горло так, чтобы голова отделилась не полностью, окропил кровью стену жертвенника, а оставшуюся кровь выжал на его основание, — и вдруг схватил ее за руку своими цепкими пальцами и потребовал, чтобы вечером она пришла в ложбину, что за высокими скалами,

— он будет там ее ждать. Женщина не поняла, что он имеет в виду, но густо покраснела и, сорвавшись с места, что было духу бросилась бежать. Это событие заставило ее жестоко страдать, ибо она совершила злодеяние перед Господом. Ведь устами кохена говорит сам Бог, а она, грешная, сочла, что ей собираются причинить зло.

Вечером она попыталась заговорить с мужем, попросить у него совета, но не смогла. Образы матери, кормилицы и отца обступили ее и говорили с ней всю ночь напролет...

Однажды вернулась она в свой шатер из скинии собрания, охваченная бурей чувств. Не могла ни есть, ни пить и лишь без устали расхаживала по шатру, не в силах остановиться. Все существо ее трепетало: чего хотел от нее сегодня служитель Божий? Чем она согрешила перед Господом, что этот кохен так угрожал ей: если не послушается она гласа Господня, исходящего из его уст, то наведет он на нее такую беду, от которой ей уже никогда не избавиться?..

И все-таки она продолжала приносить жертвы в положенные дни, ибо боялась Господа.

И однажды, когда она стояла около жертвенника с десятиной отборной муки для очистительной жертвы, без елея и без ладана, кохен набрал полную горсть муки, чтобы воскурить на жертвеннике, — и вдруг устремил на нее полный ненависти взор и устрашающе-ледяным голосом произнес:

— Шифра бат-Серед! Еще один день даю я тебе сроку. Если и сегодня вечером ты не придешь, по слову Господню, в ложбину, что за высокими скалами, я поведаю твоему мужу...

Словно тяжелый камень внезапно придавил ее

к земле, но она выпрямилась во весь рост и, подобно царице, величаво вышла, не проронив ни слова в ответ.

О чем он собирается "поведать" Иэзеру? Что он ему скажет? Что?

Придя домой, она залилась слезами, бросилась на земляной пол шатра, покрытый мягкими шкурами, и долго плакала навзрыд.

Но вдруг, найдя в себе силы, встала, твердо решив в сердце своем, что отныне и впредь не станет она больше приносить жертвы и не будет выходить из своего шатра. И мужу обязательно все расскажет — пусть только пройдет несколько дней и пусть найдутся верные слова. Удивляясь себе, она не понимала, почему ей раньше не приходило в голову отказаться от посещений скинии собрания.

Однако на следующий день она увидела, как кохен шепчется с ее мужем. Кровь застыла в ее жилах и прервалось дыхание. Потом она заметила, что кохен заходил в шатер ее мужа еще несколько раз.

О, если бы только она нашла в себе силы поговорить с мужем и рассказать ему обо всем, обо всем...

* * *

Шли тосклевые дни, и низкое небо сияло ослепительно ярко и злобно. Яростный ветер обжигал лицо пустыни, мгновенно уничтожая едва пробивающуюся зелень, но Шифре было холодно. Диковинные птицы, издавая зловещие крики, сновали по небосклону. И ночами не находила она покоя на ложе своем, беспрестанно мерила шагами шатер в напряженном раздумье, сама не

зная о чем. Иэзер же скрывался от нее, и она целыми днями с ним не виделась.

Однажды он явился к ней раздраженный и злой и без всякой на то причины устроил безобразную сцену, обругав ее на глазах у всех рабынь и служанок развратной блудницей. Кровь бросилась ей в виски и она чуть не рухнула без чувств. Попыталась что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова.

Но вдруг в ней пробудилась гордость: ни в ком случае не оправдываться! Не оправдываться! А все остальное — в воле Божьей...

Наверное, это кохен заставил мужа думать о ней недоброе. Нашептал, наверное, что-нибудь такое, что вселило дух ревности в его сердце. Но вскоре она уже глубоко сожалела, что дурно подумала о Боге, и поспешила поклониться как можно ниже перед входом в шатер.

И тут снова охватил ее бунтарский дух — идти наперекор всем и всему, наперекор самому Богу: она выйдет сейчас из шатра и гордо проследует по всему стану, не страшась ничего. Но люди отшатывались от нее, отступали назад и перешептывались между собой.

Слухи росли и множились — когда среди шепота рабынь и служанок удавалось ей уловить отдельные слова, у нее темнело в глазах.

Как-то раз подошел к ней муж и, глядя в сторону, обратился к ней тихо и очень спокойно:

— Послезавтра приготовишь жертву ревности²⁹, каковую и принесешь: десятину меры ячменной муки. Без елея и без ладана, — сказал и поспешил уйти.

Она шла вслед за мужем, словно во сне. Большая толпа медленно двигалась за ними: муж вел жену к кохену.

Кохен стоял прямо и неподвижно, и гнева не было в его глазах, устремленных на Шифру, но с мужем ее он говорил раздраженно:

— Мы должны ждать еще семь дней. Семь дней проведет Шифра бат-Серед в одиночестве при скинии собрания, дабы очиститься пред Господом, прежде чем наступит назначенный срок.

Семь дней и семь ночей провела в полном одиночестве Шифра бат-Серед во дворе скинии собрания, в женском шатре. Однако кохен ежевечерне наведывался к ней с одним и тем же предложением: одного доброго слова из ее уст будет достаточно для того, чтобы он снял с нее обвинение, выдвинутое ее мужем, — и все снова станет, как было прежде. Но женщина сидела, словно немая, не произнося ни звука в ответ. Придя к ней на исходе седьмого дня, он обнял ее, но она отчаянно закричала, и он поспешил уйти.

На восьмой день подвели ее ко входу в скинию собрания, пред лицо Господне, дабы свершить над ней правосудие.

Вокруг собралась толпа несравненно более многочисленная, чем неделю назад. Справа от нее стоял Иэзер, низко опустив голову, а слева — кохен. Наготу ее прикрывала лишь длинная, до пят, белая полотняная рубаха, в которой она выглядела значительно выше своего роста. А лицо ее поражало невероятной бледностью даже в сравнении с белизной рубахи.

Кохен, облаченный в ритуальную одежду, — белый головной убор, хошен и узорный пояс —

совершал обряд уверенно и невозмутимо-спокойно: набрал в глиняный сосуд святой воды и растворил в ней горсть земли, которую зачерпнул с земляного пола скинии Завета.

Потом он подошел к женщине, уже готовой лишиться чувств, и, велев ей держаться прямо, сорвал с головы ее тугой платок — чтобы вырвались на волю густые волны каштановых волос и заструились стремительно до самой земли, но, и там не останавливаясь, рассыпались вокруг ее ступней темным блестящим кругом. Толпа застыла, пораженная зрелищем невиданной красоты. Никогда прежде не награждал Создатель ни одну женщину волосами подобной длины.

Она стояла, напрягая все силы, чтобы не упасть, а в руках у нее было поминальное приношение ревности, и кохен стоял подле нее с сосудом горькой воды, наводящей проклятие.

Тем временем в толпе поднялась толчея: все стремились придвигнуться поближе. Взгляд Иэзера беспокойно блуждал вокруг, временами задерживаясь на лице жены, но он не узнавал ее. Шифра стояла, низко опустив голову, устремив глаза в землю, стояла неподвижно, не сознавая происходящего. Лишь кохен держался гордо и прямо, взгляд его был холоден, а голос гудел все громче и раскатистей, заполняя собою пространство:

— Шифра бат-Серед! Вот, я заклинаю тебя, а ты слушай: если никто, кроме мужа, не ложился с тобою и ты не осквернилась и не изменила мужу твоему, — эта горькая, наводящая проклятие вода да не принесет тебе вреда. Если же осквернилась ты, изменив мужу твоему, и если познал тебя другой мужчина...

Несчастная женщина пыталась заткнуть уши, чтобы не слышать. Когда зазвучали страшные

эти слова, лицо ее исказилось гримасой страдания, но кохен спокойно оторвал ее ладони от ушей и, опустив ее руки, продолжал декламировать крайне внятно и раздельно, с сильным ударением на каждом слове:

— И — если — познал — тебя — другой — мужчина — кроме — мужа — твоего — да предаст тебя Господь жестокому проклятию в народе твоем, и да увидит весь народ, как вспухает живот твой и становятся дряблыми бедра, ибо когда несущая проклятие вода проникнет во внутренности твои — вспухнет твой живот и бедра станут дряблыми. А теперь повторяй за мной: амен! амен!

Но лишь сдавленный хрип вырывался из ее горла, и никто не разобрал ни слова. Только после властного окрика кохена она произнесла тихо, но внятно: амен!

— Нет! — воскликнул кохен, — скажи дважды: амен, амен!

И женщина повторила еле слышным, но предельно ясным шепотом: амен! амен!

Кохен медленным, размеженным шагом отошел в сторону и написал особыми чернилами слова проклятия на полоске пергамента, потом опустил ее в сосуд с горькой и едкой водой, растворившей чернила и смывшей грозные знаки. Сoverшив это требуемое ритуалом действие, он снова подошел к женщине. Но та уже не сознавала происходящего. Черные, красные и синие круги бешено вращались перед ее глазами, разбрасывая во все стороны огненные искры, и она более ничего не видела и не слышала.

Кохен взял из слабых ее рук хлебное приношение и высоко поднял его над головой, закатив глаза горé, потом набрал из него горсть — поминальную долю, которую следовало сжечь, и

воскурил ее на жертвеннике, а затем снова взял в руки сосуд с горькой водой, чтобы напоить ею "неверную" жену...

Но в этот момент женщина, качнувшись, рухнула наземь.

Кохен попытался поставить ее на ноги, но не смог, ибо она была мертва.

Иэзер, как подкошенный, пал на тело жены и, обнимая его, вскричал в отчаяньи:

— Прости меня! Я, я виновен, а ты — праведна! Все мы виноваты перед тобой, прости нас!

Но кохен, возвышавшийся над ними невозмутимо и гордо, воздел руки к небу и произнес:

— Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Божие! — а потом повернулся и ушел медленным, размеренным шагом.

ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ ТЕЛИЦА

Это произошло на тридцать девятом году блужданий сынов Израиля по пустыне, во втором месяце того года, когда они разгромили пятерых мидийских царей в великом сражении при Авель-Мехола. Целых три дня шла беспощадная война, охватив широкое пространство от Ароэра, что при потоке Арнон, и вплоть до Яббока, что в земле Гилеадской, и только на исходе третьего дня мидийцы обратились в бегство. Тогда были взяты в плен живыми пятеро царей мидийских — Эви, Рэкем, Цур, Хур и Рэва — и пытали их всю ночь напролет, а на рассвете повесили, и провисели они целый день до вечера. Потом набросились на всех уцелевших в той войне мужчин и убивали, и уничтожали их, пока не осталось ни одного, а потом, пьяные от крови, стали врываться в оставшиеся беззащитными города, вламываясь в каждый дом, в каждое укрытие, чтобы захватить в плен и небоеспособное население тоже, — выволакивали из последних убежищ стариков, больных и увечных и тут же приканчивали их, а города сжигали, крепости разрушали, деревни сметали с лица земли, так что уже день спустя невозможно было даже представить, что были здесь когда-то города и деревни. Но женщин мидийских и их детей оставили в живых и угнали в

плен вместе со стадами крупного и мелкого скота и всем их имуществом, драгоценностями, золотом, серебром, запасами меди и железа, олова и свинца — все это взяли израильтяне с собой и пригнали пленников в степи моавитские, к Иордану, поблизости от Иерихона.

Военные трофеи были обильны: четыреста семьдесят пять тысяч луков, девятьсот восемьдесят тысяч колчанов, триста пятьдесят пять тысяч пращей, великое множество колесниц и телег, а мечей, дротиков и копий — без числа. Увели в плен триста двадцать шесть тысяч женщин, а голов крупного и мелкого скота было так много, что и не счесть. Кроме того, отобрали среди пленных женщин всех тех, что успели познать мужчину, и забавлялись с ними всю ночь, а потом на заре убили их всех до единой, и в живых остались лишь девочки и совсем юные девушки, не знавшие мужчин. Было их всего тридцать две тысячи. Среди пленниц, оставленных в живых, была одна девушка четырнадцати лет, удивительно белокожая, совсем еще дитя, по имени Хогла. У нее были необыкновенно длинные, достающие до земли волосы, густые и спутанные, напоминавшие своим видом нечесаный лен. Полевые лани, завидев ее, начинали часто дышать и, подходя к ней без тени страха, принимались облизывать ее руки. Длинная и стройная ее шея притягивала к себе сластолюбивые взгляды.

Все те, кто убивал врага или прикасался к трупам, пребывали еще семь дней вне стана. Эти люди на третий день очистились от скверны, а в седьмой день — выстирали все кожаные одежды, что были на них во время сражений, и возвратились в стан. А на восьмой день каждый из них привел своих пленниц на плоскую вершину близ-

лежащей горы, где и происходила продажа этих рабынь. Словно на рынке.

На вершине горы собралось великое множество народа. Приходили из близких мест и из дальних, из Язера и Кадеш-Барнеа, из Дивона и Ди-Захава многие сотни людей, ибо народ жаден был до мидийских девушек. Стоял многоголосый гомон, теснота, толчая — столько набралось покупателей, что не прдохнуть, не пртиснуться. Девушек выстроили ровными рядами, были они наги и укутаны лишь в легкие полотняные покрывала. Покупатели подходили поминутно, и тогда чернокожий уроженец земли Куш, управлявший торгом, срывал с живого товара незначительное его прикрытие, расхваливая достоинства девушки перед покупателем: до чего соблазнительны ее формы, какая гладкая у нее кожа, как изумительно свежа юная плоть, насколько вся она мила и привлекательна, как прекрасно сложена. Солнце пылало в вышине, посыпая жаркие лучи на обнаженную плоть, и девичьи формы одевались золотым его сиянием. Но ненадолго открывались солнечным лучам юные прелести — в следующий миг они уже исчезали под покрывалом.

Хогла стояла в конце шеренги, немного в стороне, и большие испуганные ее глаза были распахнуты во всю ширь — но ровно ничего она не видела. Ее охватило странное оцепенение, и она не сознавала, где находится и что здесь происходит. Только теперь, увидев ее в одном ряду с другими юными рабынями, можно было понять, насколько невысокого она роста. Совсем еще дитя. Но было нечто такое в сиянии ее кожи и широко раскрытых глазах, от чего ни один мужчина не мог смотреть на нее равнодушно. Словно снега на вершине Снира, светилось ее тело, временами,

ярко поблескивая в солнечном свете. Так и стояла она, не постигая происходящего, а ее распущеные до самой земли волосы растекались вокруг ступней светлым потоком цвета расплавленного золота. И лишь когда откидывали на мгновение покрывало, выставляя напоказ ее наготу, или когда какой-нибудь покупатель щупал грубою рукой девичью плоть, она судорожно вздрагивала, прикрывая груди ладонями. О, как нежны были эти белые тонкие руки, — покупатель не мог оторвать от них хищного взгляда. Но в следующий миг уже возвращалось к ней прежнее оцепенение, руки падали вдоль тела, и она стояла недвижимо.

В ту минуту поднялся на вершину горы кохен Эльцафан бен-Узиэль бен-Итамар. Выбрав место поудобнее, он, стоя несколько поодаль, принялся разглядывать ровные ряды пленниц — и вдруг взгляд его упал на Хоглу. Прочие покупатели поспешили убраться в сторонку, дабы не мешать влиятельному и богатому человеку в выборе новой рабыни. В обширном его шатре было отведено специальное место, где в безраздельном его владении содержались самые красивые женщины во всем стане: две моавитянки, одна эморийка, а все остальные — израильтянки.

Другие покупатели не смели соревноваться с ним. И Эльцафан медленно пошел к намеченной цели, а черный раб услужливо распахнул перед ним легкое покрывало, однако тот осматривал добычу безмолвно, лишь глаза его ярко заблестели, приобретая зеленый кошачий оттенок, да сильно вздулись жилы на лбу. Он мгновенно ощупал опытным взглядом стройную шею, узкие лопатки, плавные бедра, и на губах его показалась слюна. Тогда он поспешил уплатить за рабыню назначенную цену — сто шестьдесят сиклей се-

ребра — и увел ее. Его неровный шаг выдавал скрытое возбуждение.

А народ толпами валил вниз по склону горы, и каждый гнал перед собой только что купленное двуногое имущество. Волнами расплывался многоголосый шум, смешиваясь с облаками пыли.

У подножья горы стоял на деревянном возвышении толстый кохен и обращался к толпе зычным басом, покрывающим ее суетливый гомон, и мощный голос его прокатывался от края и до края стана. От толпы отделялись люди, подходили, слушали:

— Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь, Бог твой, предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь среди пленных красивую женщину, и полюбишь ее, и пожелаешь взять себе в жены, — приведи ее в дом свой, и пусть обреет она голову, и подрежет ногти свои, и снимет с себя одежду пленников.

Некоторые проходили мимо, не обращая внимания, другие останавливались и слушали внимательно. А кохен продолжал говорить:

— И пусть сидит она в доме твоем и оплакивает отца своего и мать свою в течение месяца; и после этого ты можешь войти к ней и стать ее мужем, и она будет твою женой...

Прежние слушатели уходили, подходили новые:

— Если же после этого она тебе не понравится — отпусти ее, пусть идет, куда пожелает, но не можешь ты продавать ее за деньги, не должен ты надругаться над нею, ибо ты взял ее насилино...

И люди поворачивались и уходили.

Эльцафан бен-Узиэль тоже степенно спускался с горы, опираясь на посох, и девушка шла рядом с ним. Губы его страдальчески искривились: вот

еще, целый месяц ждать — на виске его вздулась вдруг тугая синяя жила. Обуреваемый гневом, он внезапно обрушил страшный удар посоха на придорожный сикомор — воздух засвистел, послышался громкий треск, и молодое деревце зашаталось, осыпая тонкие ветви и листья.

* * *

Словно во сне, сидела она одиноко на женской половине шатра, и глаза ее смотрели прямо перед собой — взгляд упирался в серые дубленые шкуры, покрывавшие ее новое жилище. Она боялась сдвинуться с места, пошевелиться. Днем сквозь небольшое высокое оконце падал в шатер сноп дневного света, да и факелы в глиняных кувшинах прорезали серый сумрак, но глаза ее окутывала плотная, непроницаемая тьма, и она ничего не видела. Факелы тихонько потрескивали, вздыхали, но и этого она не слышала. Вокруг были чужие стены, под ногами — чужой пол, и все шесты, застежки и скрепы в этом шатре были чужие. Собравшись с силами, она иногда вставала, чтобы потрогать какой-нибудь крюк или петлю, но тут же отдергивала руку и побыстрее возвращалась на свое место. Но по ночам, когда плотная тьма стояла кругом, словно осаждаемая стена, в душе ее сиял яркий свет и глаза видели далеко. Тогда она, в крайнем возбуждении, зажмуривалась изо всех сил и все смотрела, смотрела...

Там, вдали, раскинулась широкая степь. Горстка брошеных нежилых домишек под жгучим солнцем. Ни деревьев, ни кустов, лишь одинокая, можжевеловая ветка выглядывает из расселины в скале. Почему ей вспомнился тот колючий мож-

жевельник?.. Они с маленьkim Йовавом бегут по полю, взявшись за руки. Ей всего пять лет, да и Йовав не намного старше. Куда они бегут, ей невдомек, но ведь у нее нет ни отца, ни матери, и во всей этой далкой огромной степи есть у нее только Йовав. Потом она видит себя постарше, лет восьми или девяти, и перед ее взором не степь, а долина. Вот шалаш. Перед ним — зеленые деревья. Вот плоский камень, на котором она сидит. На другом камне, подле нее, сидит Йовав и о чем-то рассказывает. Почему ей вспомнился тот камень?.. Но вот она видит уже не долину, а пологий склон горы, покрытый свежей травой, и в глазах от нее ярко и зелено. Пасутся козы и овцы. Тут же лежит на траве Йовав, и она рядом с ним. Вдруг, в озорном порыве, она перекатывается на него, обнимает, прижимает к сердцу, а он ее целует, целует, целует... Где теперь то стадо?..

Словно во сне, сидела она на женской половине в углу шатра. А утром третьего дня пришла служанка, которую к ней приставил Эльцафан, и пала пред ней на лицо свое:

— Госпожа моя!

При этих словах Хогла ощутила страх.

Но служанка продолжала:

— Не пожелает ли теперь госпожа моя обрить голову!

И, не дожидаясь ответа, рабыня приступила к делу: безмолвно достала ножницы и бритву, и в следующую минуту роскошная копна волос начала редеть. Срезанные кудри и длинные косы тихо падали наземь. Пышные высокие волны червонного золота устилали пол вокруг нее. Хогла разглядывала их, склонив голову. Медленные слезы выступили у нее на глазах и тихо и безудержно заструились по щекам. Хогла не вытирала их.

Позже, когда взвесили ее остриженные волосы, оказалось, что в них триста семьдесят пять сиклей чистого веса.

На пятый день служанка принесла маленькие ножницы, пилочки, щипчики и горшочек с елеем и сказала:

— Не пожелает ли теперь госпожа моя подрезать ногти?

И тут же приступила к делу. Кончики ногтей Хоглы она сделала длинными и узкими, смазала их елеем, покрыла алым лаком, а по краям и у основания обвела тонкой полоской цвета индиго.

На седьмой же день служанка сняла с нее одеяние пленников — грубое вретище, перепоясанное веревкой, — и облачила девушку в богатые одежды: узорную рубашку, шитую золотом накидку и серебряный пояс с кованой пряжкой.

Вечером пришел Эльцафан.

Хогла впервые рассмотрела его как следует: был он огромного роста, тяжелый и широкоплечий, она была немногим выше его пояса и с испугом глядела в его лицо — его ноздри раздувались и двигались, а в глазах тлело наводящее ужас пламя. Когда он, подойдя к ней, взял ее за руку, она изо всех сил стиснула зубы, чтобы громко не закричать от боли, — до того крепко сжал он ее ладонь.

С тех пор он повадился приходить ежедневно, иногда по несколько раз в день, и без конца говорил, говорил...

Есть ли у нее отец, которого она должна оплакивать целый месяц? — И девушка, в знак отрицания, безмолвно качала головой. Станет ли она оплакивать мать? — То же молчаливое покачивание: нет. Был ли у нее нареченный, которого ей следует оплакать?

— Да ведь Йовава убили у меня на глазах!
— внезапно вырвался из ее груди страшный крик.

Эльцафан поднял глаза. Стал осматриваться вокруг, как громом пораженный, не понимая в первую минуту кто бы мог так кричать. Откуда взялась в этом маленьком слабом создании сила для столь громогласного крика? Откуда такая мощь? Он посмотрел ей в глаза и ужаснулся.

Однако назавтра от давешнего испуга не осталось и следа: да сотрет она в своем сердце память о том юноше безвозвратно. Мертвые ведь не воскреснут. Зато он, Эльцафан, станет ей отцом, и другом, и мужем, а это много лучше, чем десять женихов сразу...

И девушка, которая прежде всегда молчала, вдруг принялась говорить, да так, что ему захотелось заткнуть уши. Ничего подобного он никогда не слышал. Словно бурный неудержимый поток, неслись лавиной ее слова — она не могла больше себя сдерживать. Но из всего сказанного он слышал только одно:

— Никогда ты не станешь тем, другим.

Никогда не позволит она никому иному к себе прикоснуться, пусть хоть режут ее на куски. Длинными, острыми своими ногтями выцарапает она ему глаза, изранит шею, задушит его...

Эльцафан не смог удержаться от улыбки. Ее раздраженный вид и все эти гневные речи стали смешить его. Такая маленькая и слабая, толкнешь мизинцем — упадет, и делай с ней, что хочешь, а еще смеет объявлять ему войну!

Внезапно ее голос стал очень тихим: а если все же он ее одолеет, и она не сумеет ему воспротивиться, да будет ему известно, что и дня после этого она не проживет. Он взглянул ей в глаза и вновь ужаснулся.

Хогла продолжала: что проку ему в том, что он овладеет ее телом? Ведь это только тело, а душа ее никогда не будет ему принадлежать, никогда!

И вдруг добавила:

— Пока еще подожди.

Он приходил к ней ежедневно, по вечерам. Говорил с ней ласково, просил, умолял — но она отвечала ему резко и недвусмысленно; когда тон его становился грубым и властным — она сквозь рыдания упрашивала его еще подождать; он пробовал взять ее лестью и обманом — но она отражала нападение чистотою сердца и словами правды; пользуясь своим положением, он издевался над нею — но она останавливалась его смиренностью агнца. Так проходили дни, складываясь в недели, — их минуло уже две, проходила и третья. Еще немного — и минет месяц, отведенный Законом. Вот уж третья неделя близится к концу...

В первый день четвертой недели он уже не в силах был себя сдерживать. Какое ему дело до отведенного срока? Что ему Закон? Ведь нет у нее ни отца, ни матери, которых она должна оплакивать целый месяц! Жилы на висках его набухали. Глаза горели недобрый огнем. Все существо его излучало мрачную угрозу, отпугивая всех, кто с ним встречался.

Та ночь была непроглядно темной. Бушевала гроза, и свист ветра в горах нарастал до почти одушевленного воя. Заходились лаем собаки. Жутко завывали шакалы.

Когда он схватил ее своими огромными руками, она знала, что на этот раз ей не вырваться. Это — конец. Своими длинными, остро отточенными ногтями она исцарапала в кровь его лицо, добираясь до глаз, — но он ничего не чувствовал. В крови были и его руки — она бешено рвала их

зубами, но он не обращал внимания. Она отталкивала его от себя, сколько было сил, — и руки нежные ее слабели. Измученная борьбой, она совсем обессилела.

Гроза прошла, и воцарилась тишина. Не лаяли больше собаки, не выли шакалы. Поплыла по черному небосклону яркая луна...

Утром юной пленницы нигде не было. Ее искали повсюду, но тщетно. Три дня и три ночи продолжались поиски, но девушка пропала бесследно. Потом о ней забыли.

* * *

На сороковом году скитаний сынов Израиля по пустыне, в первый день первого месяца того года, ранним утром того дня пастухи, проходившие со стадом по пастбищам, что между Атарот и Дивоном, обнаружили чье-то безжизненное тело среди зарослей на берегу потока Яббок. И лицо, и фигура почти потеряли форму, так что лишь с трудом можно было понять, что тело это женское. Несчастная наверняка утонула, и воды потока, проносив ее с собой многие дни и месяцы, выбросили труп на берег.

Весть об этом пронеслась по всему стану, вызывая немалое смятение. Стан волновался, шумел: найден труп неизвестной в открытом поле. Может быть, кто-нибудь убил ее? Явились тогда надзиратели и судьи и принялись расследовать дело. Следствие длилось три дня, но никто ничего не знал и не видел, не нашлось никаких свидетелей, и оно было прекращено. Тогда начались обширные приготовления: прибыли старейшины городов, наиболее расположенных к месту об-

наружения трупа, и с ними приходили многочисленные кохены и левиты, ибо их избрал Господь служить Ему и благословлять именем Его, и старейшины принялись замерять расстояния до всех близлежащих городов и селений. Новой льняной бечевой мерили расстояние до Язера и до Хешбона, до Эльяле и до Нимры, до Атарот и до Дивона, до Швама и до Берона — до всех городов и селений той округи, кроме Нево, ибо слишком уж он отдален от той местности. Протягивали мерную бечеву снова и снова, пока не выяснилось, что Эльяле ближе других селений к месту происшествия, ближе на тридцать локтей к месту обнаружения тела, чем Дивон. Узнав об этом, старейшины Эльяле поторопились пригнать молодую телицу, на которой еще не пахали, которая еще не знала ярма, и вывели ее на дорогу, ведущую к полноводному потоку Яббок, земля вокруг которого не обрабатывалась и не засевалась. Женщины украсили телицу белой накидкой с синими кистями по углам, а на шею ей повязали пурпурный шнур. Двое левитов вели телицу, идя справа и слева от нее, а она мычала непрестанно на протяжении всего пути, не успокаиваясь и от небольших охапок сена, которые ей время от времени подбрасывали. В конце пути, на берегу потока, пребывали в томительном ожидании кохены. Они торопливо погнали телицу к самой воде. Там же расположились семьдесят старейшин, по тридцать пять с каждой стороны. Между двумя группами старейшин стояли по щиколотку в воде шестеро кохенов, и лишь главный кохен возвышался на прибрежном камне, спиной к потоку и лицом к толпе. Позади старейшин стояла группа левитов с медными рукомойниками, наполненными водой. Надзиратели расхаживали в толпе,

троекратно возглашая: освятитесь — будьте готовы, освятитесь — будьте готовы, освятитесь — будьте готовы! И народ вторил им: мы освятились — мы готовы!

Затем телицу подвели к главному кохену. Крепкой рукой ухватил он ее за загривок и сорвал с нее накидку и пурпурный шнур. Лишь на одно мгновение ярко блеснул в его руке длинный смертоносный нож, единственным взмахом погрузившийся глубоко в загривок жертвы. Телица испустила продолжительное громкое мычание, потом — хриплый и долгий стон, потом все стихло, наступила полная тишина, и кровь фонтаном взметнулась вверх, а после обильно заструилась в воду.

В этот момент левиты поторопились подставить рукомойники, и кохены и старейшины омыли руки свои над обезглавленной телицей, и вода, смешиваясь с еще бьющей толчками кровью, стекала в поток. Тогда омывшие руки подняли их над головой в знак святости, и очи свои воздели горе, и громко возглашали, обращаясь друг к другу:

— Руки наши не пролили крови этой, и глаза наши не видели!

И главный кохен, подняв глаза к небу, произнес:

— Прости народу твоему, Израилю, который искупил Ты, Господи, и не допусти пролития невинной крови в среде народа Твоего, Израиля!

И шестеро кохенов повторили:

— И да будет прощена им кровь эта!

Среди кохенов стоял и Эльцафан бен-Узиэль. Умывая руки над обезглавленной телицей, он повторял вместе с другими: руки наши не пролили крови этой, и глаза наши не видели, — но слова

были мертвы на его шевелящихся губах, и голос его не был слышен.

Но в следующее мгновение он уже приободрился — это ведь всего лишь телица.

И труп животного сожгли, а утопленницу похоронили у подножия горы.

ГОРОД-УБЕЖИЩЕ

Когда прибыли израильтяне в Эцион-Гевер — на тридцать втором году их странствий по пустыне, — появилась в стане очень юная девушка, маленькая, худенькая и как будто ничем не примечательная. Люди, которым она встречалась, не могли потом припомнить ни внешнего ее вида, ни черт лица: ничего не возникало, кроме ее глаз, непрошено выплывавших из тьмы памяти, больших, как крупные плоды миндаля, черных, словно глубины потока Арнон, и пылающих, словно огонь на жертвеннике, что перед входом в скинию собрания. Ни одной живой душе не было известно, кто эта девушка и откуда она пришла. Будто стремительным ветром пустыни занесло ее однажды в стан вместе с перепелами³⁰, и всего только и было известно о ней, что имя ее Ноа. Если же спрашивали у нее об отце и матери, она отвечала: "Отец мой — пустыня, а мать — степь", — и громко смеялась, сияя яркой, словно внезапная молния, белизной зубов, и большие серьги в ее ушах звонко звенели. Другого ответа нельзя было от нее добиться, а в следующее мгновение она уже убегала. Юноши и мужчины рассказывали о ней нечто удивительное: стоило ей остановить взгляд на каком-нибудь мужчине, как он сразу чувствовал жжение на коже, как от ожога,

в том месте, куда она посмотрела; дыхание ее было, словно знойный порыв ветра из Негева, а от прикосновения ее руки кровь бесновалась в жилах, словно огненный поток. И вся она была подобна пустыне: лицо, как обожженная солнцем медь, худое костиистое тело — будто острые жаркие скалы; дикой и порывистой она была, как буйный северный ветер. Но, как и иссохшая земля, что между Пааном и Тофелем, так и та девушка всем существом своим жаждала днем и ночью редких капель благодатной росы — и все ждала их, ждала...

В те давние дни солнце пылало и жгло десятикратно сильнее, чем теперь, и пустыня была во сто крат страшнее и необъятней, чем теперь, и любовь была в тысячу крат крепче и необузданней, чем теперь.

В пещере, в глубокой расселине между скал, родилась Ноа четырнадцать лет назад, на двадцать втором году после исхода сынов Израилевых из Египта, когда они расположились лагерем в Риммон-Переце. И не ножом отрезали ей пупопину, а заостренным кремнем. Мать ее была прачка, а отец — сборщик хвороста. Он находил в поле круглые коробочки плодов красного мака, разминал зерна и, приготовив из них хмельную настойку, опивался ею до бесчувствия. В Киврот-Таава ее родители умерли в один день, объевшись мясом перепелов, — тогда случилась повальная эпидемия. И Ноа росла сама по себе, некому было о ней заботиться. Кто в пустыне выращивает черную рысь и белую пуму? Она подрастала, как чертополох в заброшенном поле, как змееныш в расселине скалы. Никогда не ночевала она дважды в одном и том же дворе, у одного и того же порога, и если ей где-нибудь давали хлеба,

она никогда не возвращалась к тем людям на другой день. Находила в поле немного манны, зерен кориандра или плодов мандрагоры и, поев чуть-чуть, еще оставляла — и неизменно была весела. Ей не исполнилось еще и двенадцати, совсем девочкой она была, когда в поле овладел ею какой-то прохожий, изнасиловал ее, но она отнеслась к этому с полным безразличием. Как перекати-поле, носило ее от стана к стану, от одного селения к другому.

Маленькая и худенькая, пришла она в Эцион-Гевер, и всего-то имущества принесла с собой, что огромные глаза, — но не прошло и трех месяцев, как вдруг она расцвела и похорошела. Чуть ли не в одну ночь. Вечером легла спать, и не было в ней ничего примечательного, а утром проснулась настоящей прелестной женщиной, хоть и минуло ей всего четырнадцать лет. Словно дымкой подернулись миндалевидные ее глаза, утаивая от любопытных взглядов свой глубокий блеск: казалось, что она всегда мечтает о чем-то. Люди, увидев ее, застывали на месте, пораженные нежданной ее красотой, — ни одна женщина не могла сравниться с нею во всех пределах селений израилевых. Весь стан вокруг — молодые парни и взрослые мужчины, богачи и бедняки, уважаемые старейшины и низкий сброд — все ходили за ней с места на место, куда бы она ни пошла. Словно чаша хмельного яда обошла весь стан. Из дальних мест приходили и из ближних — отовсюду, где израильтяне расположились стоянкой. И девушка никого не отвергала, привечала всех сразу, всех подряд, всех-всех — никого не лишала она своей благосклонности — и только громко смеялась.

Днем нежилась она на солнцепеке, на раска-

ленном песке, играя с двумя маленькими змейками, которых приручила. Обнажив грудь, она пускала их ползать по своему телу, и они обвивались кольцами вокруг грудей, не причиняя ей вреда, а она все смотрела в залитое солнцем небо, грезила наяву, с открытыми глазами. А темными ночами она лежала в открытом поле с каким-нибудь юношей, почти не обращая на него внимания. Возлюбленных она меняла ежедневно с такой легкостью и безразличием, как будто переодевала платья. Как черная рысь в степи и как белая пuma в пустыне, она отдавалась любому встречному, не видя в том ни зла, ни греха — и только громко смеялась.

Днем, когда зной пылал словно огненная печь, она до обморочной слабости доводила себя, сидя под палящим солнцем, и иногда, охваченная страстным порывом, сбрасывала с себя всю одежду, подставляя лучам обнаженное тело. И бывало, что распушив длинные — до колен — волосы, она укутывалась ими как накидкой, скрывая наготу, подобно солнцу, одевшемуся в пушистое облако. Ночами же находила себе любовников и случалось даже, что не одному, а двоим или троим позволяла забавляться собою, — ей было это безразлично, она их как бы не замечала. Была она словно голодная волчица, рыщущая по пустыне в поисках добычи, от одной жертвы к другой, — и только громко смеялась.

Днем, когда ясное небо светилось глубокой лазурью, она спускалась к потоку Арнон купаться и, выйдя на берег после купания, сияющая и раскрасневшаяся, она стояла, нагая, над гладкой водой, всматриваясь в свое отражение, и все никак не могла насмотреться. Тогда Ноа поняла, что на всей земле нет женщины более красивой, чем она.

Иногда она не могла совладать со страстным желанием опуститься на колени и покрывать поцелуями свое отражение в воде — губы, плечи, бедра. Интересно, что она прогоняла всех знатных и богатых, волочившихся за нею, и выбирала себе мужчин для любовных забав лишь среди черни: она манила к себе легкомысленных бездельников, оборванцев и бедняков — целыми стаями они тянулись за нею к месту ночных утех, а она от этого распалялась и веселела еще больше. Как бурная вода ручья, стремящаяся вниз по склону, кипела в ней разгульная кровь, увлекая ее только вниз, все ниже и ниже, под откос, — а она лишь громко смеялась.

Тоскливые дни сменялись бурными ночами, сливающимися в сплошной пьяный разгул и неуемную оргию. И лишь когда она ненадолго оставалась одна, улыбка каменела на ее устах и из груди вырывался неожиданный вздох. Шелковые, узорные ее одежды, дорогой паланкин, браслеты и украшения, полученные от любовников, становились ей отвратительны. Сами воспоминания о дружках-приятелях по любовным утехам оказались невыносимыми. Однажды она наткнулась на крупный оникс, который подарил ей княжеский сын, Кеназ из колена Биньямина, и выбросила его подальше. А узорный нагрудник, который вышил для нее Эльгад, сын князя из колена Нафтали, разорвала на куски. Опустошенное ее сердце мучила жажда, неутолимая жажда... Как безводная иссушенная земля между Параном и Тофелем, испокон веков не знавшая дождей, так и Ноа жаждала пусть хотя бы редких капель росы, и все ждала, все ждала...

Как-то подошла она к скинии Завета и остановилась у входа. Внезапно пробудилось в ней страстное желание зайти внутрь. Облако наполняло святое место, там стояла плотная, почти осязаемая тьма, и леденящим ужасом тянуло из каждого угла, из-за каждого столба, и она ровно ничего не видела. Лишь после того, как глаза постепенно привыкли к темноте, она начала различать какие-то предметы. Вот алтарь, вот возвышение около алтаря. На возвышении стоит молодой кохен, почти юноша. Он ведет службу. На нем полотняная одежда, на груди — хошен и витые шнурки эфода, длинные кудри из-под священнического головного убора спускаются на широкие плечи. Молодой кохен говорит к собравшимся... Ноа не могла оторвать от него глаз: бледное лицо, черные волны кудрей, голубые глаза, красный хошен. В это мгновение кохен тоже поднял взгляд и, когда вдруг увидел ее, — лицо его, и без того бледное, побледнело десятикратно, а глубокая лазурь глаз стала во сто крат глубже. На миг он потерял дар речи и умолк. Всего на миг. И даже смешил веки. Но быстро преодолел себя, глаза его наполнились гневом, казалось, что вокруг головы его сгущаются грозовые тучи. Он вдруг принял разъяснять собравшимся веление Моисея "Да будет стан твой свят", и голос его загремел, предостерегая народ от всякого разврата и мерзостей: "Да не увидит Он в среде твоей чего-либо срамного..." Кохен поспешно окончил проповедь и сошел с возвышения.

После полудня, когда уже легли на землю первые вечерние тени, молодой кохен бродил по полям без цели и направления. Облик девушки неиз-

менно стоял перед широко раскрытыми его глазами, да и когда он закрывал их, не исчезал из его воображения. Так и ходил он по полю, пока, наконец, не наткнулся на нее. Не подходя к ней, он застыл на месте и все смотрел на нее издали, но так и не подошел.

* * *

И вот, каждый день после полудня, когда день начинал клониться к вечеру, коехен шел по полю к богатому ее шелковому паланкину и, остановившись поодаль, смотрел на него, а когда она показывалась снаружи, — поворачивался и как будто уходил, но потом снова замирал на месте и продолжал смотреть, но так и не подходил.

В день новомесячья, в праздник или в субботу, он, как прежде, поднимался на свое возвышение в скинии и громогласно обращался к народу, наставляя: "Да будет стан твой свят", и предостерегая: "Да не увидит Он в среде твоей чего-либо срамного", — но всякий раз, возвращаясь снова и снова к этому наставлению и предостережению, он опускал голову, глядя в землю, как бы стыдясь самого себя, и поминутно вздыхал.

Однажды он увидел ее в поле под кустом, где она скрывалась от плотоядных взглядов. Ночь обступила ее кругом. Он опустился перед нею на колени и поцеловал край ее платья, как презренные рабы целуют край платья своей царицы. Ведь нечист он, нечисты его губы и сердце, а она — святая, святая, святая...

Она задрожала всем телом — впервые, такого с ней не случалось никогда в жизни.

Он ли это? Ведь как иссохшая пустынная земля,

что между Параном и Тофелем, его, именно его жаждала она всю жизнь!

И полетели чудесные дни и милые, милые ночи — грезы и сны, напоенные сладостной надеждой. И все-таки она ожесточала к нему свое сердце так, как никогда и ни к кому прежде. Она лишала его того, что с легкостью дарила любому оборванцу. Только его, его одного не допускала она на свое ложе — сама не зная, почему. Она бранила его, сердилась и всегда говорила с ним неласково — сама не зная, почему.

А он приходил изо дня в день, падал пред нею на колени и с горящими глазами целовал край ее платья. И она изо дня в день бранила его, говорила с ним жестоко и велела ему убираться подальше. Но по ночам, лежа с закрытыми глазами в чьих-нибудь объятиях, она видела только его и думала только о нем. Во сне или наяву, его облик преследовал ее, неизменно находясь перед глазами.

И вот однажды он взял ее за руку и поклялся ей, что остирижет волосы и снимет священнический головной убор, откажется от хошена и эфода и ничем не будет отличаться от других людей. Он уйдет далеко-далеко от стана, в далекую пустынную степь, где еще не ступала нога человека. Там он будет с ней жить, и она станет ему женою. В ответ она осыпала его такой бранью, какой он не слышал от нее никогда прежде, она безжалостно и горько издевалась над ним и вдруг поняла, что любит этого человека...

И молодой кохен продолжал изо дня в день падать пред нею на колени и целовать край ее платья.

В те дни прокатился слух по Эцион-Геверу о том, что Моисей выделил три города к востоку от реки Иордан, дабы служили они городами-убежищами для всякого, кто убьет человека неумышленно. Там сможет убивший ненамеренно скрыться от мстителей из семьи убитого, ищущих его крови. В одном из тех городов будет он жить до тех пор, пока не умрет главный кохен, а после смерти главного кохена — покинет город-убежище, и запрещено будет ищущему его крови причинять ему зло.

Около трех месяцев трудились старейшины из народа, обдумывая все, что связано с теми городами и их законами. Мерной бечевой откладывали расстояния от стана до различных городов, обмеряли окрестности, размечали границы, дороги — шли обширные приготовления. В результате указаны были три города: Бецер, что в пустыне, Рамот Гилеадский и Голан, что в Башане. В тот день собрались старейшины и кохены, облаченные в белую полотняную одежду с хошеном и эфодом, в праздничных головных уборах и накидках с серебряными колокольчиками по краям, и главный кохен с длинным посохом шел перед ними, за ним следовали левиты, за левитами — их сыновья, все одетые, как положено, и готовые к служению, а за ними тянулись толпы народа, мужчины, женщины и дети — и все это шествие направилось в Бецер, первый из трех указанных городов. Главный распорядитель шествия вызвал старейшин этого города, и все они — семьдесят один человек — представили перед воротами города, и главный кохен взошел на специально для него приготовленное возвы-

шение, и склонил свой посох; вслед за ним все кохены вокруг него тоже склонили свои посохи, и главный кохен разъяснил старейшинам города новый закон, заповеданный Моисеем:

— Если орудием железным один человек ударит другого, и тот умрет, то он — убийца, да будет убийца предан смерти!

И весь народ ответил эхом: "Амен!"

— И если камнем, способным причинить смерть, ударит его, и тот умрет, то он — убийца, да будет убийца предан смерти!

И весь народ ответил: "Амен!"

— Или если деревянным орудием, причиняющим смерть, ударит его, и тот умрет, то он — убийца, да будет убийца предан смерти. Отмывающий за кровь может сам умертвить убийцу — встретившись с ним, да умертвит его!

И весь народ ответил: "Амен!"

— И если по злобе толкнет его или умышленно бросит в него тяжелым предметом, несущим смерть, и тот умрет, или от удара рукою тот умрет, да будет ударивший предан смерти, ибо он — убийца!

И весь народ отозвался глухим эхом: "Амен!"

— Но... если какой-нибудь человек согрешит против ближнего неумышленно, если вдруг не по злобе толкнет его или ненамеренно бросит в него, сам того не заметив, какой-либо предмет или способный причинить смерть камень, и тот умрет, а бросивший — не враг ему и не желал ему зла, то да спасет общество убийцу от рук отмывающего за кровь, да примет его общество в одном из городов, где он станет искать убежища, скрываясь от преследования, и да живет он в том городе-убежище до смерти главного кохена. Да предоставит ему общество все необходимое:

хлеб в пищу, воду, чтобы мог он утолить жажду, и жилище, где бы он обитал, все необходимое — чтобы ни в чем не нуждался: и да живет в том городе совершивший ненамеренное убийство до смерти главного кохена!

И весь народ ответил ему громким гулом: "Амен, амен!"

Тогда главный кохен возвел очи ввысь, распости руки и погрузился в молитву. Голоса его не было слышно, и только губы двигались. Когда он завершил молитву, подали ему молодые левиты медный таз с водой, и главный кохен окропил искупающей грех водою ворота города, освящая его, — и город стал священным. Кохены воскуряли благовония, и пряное облако поднялось над толпой, а левиты и их сыновья завели торжественные песнопения. Подобным же образом освятили и Рамот Гиляадский, и Голан, что в земле Башана.

А в Эцион-Гевере люди от края и до края стана только и говорили целыми днями между собою, что о тех трех городах, специально выделенных, чтобы служить убежищами для совершивших ненамеренное убийство. Говоря друг с другом, люди благодушно посмеивались над новым законом:

— Да ведь города эти опустеют и исчезнут с лица земли прежде, чем придется какому-нибудь убийце поселиться в одном из них. Ведь нет убийц во Израиле, и не будет в среде его ни одного убийцы во веки веков.

А вечером того знаменательного дня, когда тьма уже сошла на землю, Ноа лежала в шелковом своем паланкине, поставленном в поле, а юноша-кохен вновь стоял перед нею на коленях. Словно побитый пес, безмолвно распростерся он

у ее ног, Однако девушка как будто его не замечала, почти не обращая на него внимания. Была она словно во сне, и душа ее блуждала в каких-то далеких даллях. И вдруг — пробудилась. Обращаясь к нему с легким смехом, но чуть дрожащим голосом, она промолвила:

— Послушай, а я ведь знаю, кто будет первым убийцей, которому придется бежать в один из городов-убежищ; кто-нибудь убьет меня или я кого-нибудь убью, и тогда я буду первой, кому придется искать там убежища...

Она расхохоталась и очень развеселилась, но вдруг умолкла и не прибавила больше ни слова.

Молодой кохен все чего-то ждал и ждал, но, наконец, встал и медленно ушел неверным шагом — колени его дрожали, и он спотыкался, как пьяный.

* * *

Несколько дней кохен нигде не показывался, но вот он снова пришел к девушке. В последний раз пришел он, и она не узнала его: он острог волосы, и вместо священнической одежды с эфодом и кованой пряжкой была на нем невзрачная рубаха и простой головной убор. Был он несравненно бледнее обычного. Все люди вокруг только о нем и говорили, указывая на него пальцами: "Какой позор!" Действительно, большего позора не знал Израиль со времен появления кохенов — никто из них никогда не попирал так бесстыдно свой священнический сан. Девушка, однако же, увидев его, принялась, как обычно, издеваться над ним и громко и раздельно заявила:

— Никогда не стану твоей женой, так и знай!

Услышав эти слова, он ничего не ответил и

ушел спокойным, уверенным шагом.

Той ночью Ноа не ложилась спать. До самых рассветных сумерек блуждала она по полям в одиночестве и тоске. "Ведь я не смогу, не смогу... Нечего мне ему дать, кроме оскверненной моей плоти, — а этого я никогда не смогу. Он свят для меня, свят и после того, как сложил с себя священнический сан, и будет свят для меня вечно..."

Той ночью девушка плакала впервые в жизни.

Как ждет беременная первенца, так ждала она той первой своей слезы. Десять, пятнадцать лет ждала, и вот, наконец, — пришли слезы. Вдруг охватило ее нежданное успокоение, какого она прежде никогда не знала.

А утром пронесся слух, что из ручья Зеред вытащили утопленника, и оказалось, что это молодой кохен.

Когда слух достиг ее ушей, она сказала: "Это я его убила", — а потом исчезла, и больше никто ее не видел. Проходили дни и недели, она не появлялась. Среди гор, в дикой пустыне, где не ступала нога человека, блуждала она днем и ночью, шепча одно и то же: "Ведь не могла я, никак не могла..." Спустя шесть недель она вернулась в Эцион-Гевер, но никто не мог ее узнать. Она сильно горбилась и стала еще ниже ростом, ни следа не осталось от прежней ее красоты...

Ночью она долго рвала все свои дорогие платья и узорные рубашки, а то, что нельзя было разорвать или сжечь, выбросила в ручей.

На сороковом году после исхода израильтян из Египта, в день первый шестого месяца того года, к воротам Гезера подошла босая девушка в рваном платье и постучалась.

— Впустите. Я убила человека — сама того не желая...

Все старейшины Гезера, напуганные ее появлением, собрались, чтобы посмотреть на нее. Ведь это первый "убийца"! Девушку впустили, подыскали для нее жилище. Ей выделили дом на главной улице, но она стала упрашивать, чтобы подыскали для нее какой-нибудь дальний угол, подальше от людей — она не хотела никого видеть. Скрывшись в самых дальних комнатах, она более не показывалась снаружи.

Женщины приносили ей каждый день хлеб, сушеные фиги и воду — это все, чем она питалась, и съедала не больше, чем требовалось для утоления голода.

Мать главного кохена передавала ей вкусные кушанья и пироги, желая ублажить девушку, дабы та своими молитвами не ускорила смерть ее сына, — но Ноа над этим лишь тихонько посмеивалась, не объясняя почему.

Даже после смерти главного кохена, когда Ноа могла уже покинуть город-убежище и для нее открыли городские ворота, она не пожелала уйти. До самой смерти прожила Ноа в Гезере, там и умерла, и там же ее похоронили.

РАССКАЗЫ

СИНАЙ

I

Жили на свете два пастуха — Тахпнес и Моисей.

Их обоих хорошо знали жители всех деревень земли Гошен, и мужчины, и женщины. Тахпнес — человек непримиримого нрава, рослый, с крепкими, сильными руками и грубым голосом, а Моисей — длиннокудрый, белолицый, изящный, с мечтательными глазами. Оба они были из израильтян, осевших в Египте, но из каких колен происходили — неизвестно, ибо в то время не было еще четкого различия между коленами. Моисей дважды посетил Моф и один раз побывал в Но-Аммоне, когда собирались там жрецы египетские³¹; он тоже произносил речь с возвышения, и все восхищались им. А Тахпнес был знаменит огромной силой своих рук: во время праздника разлива Нила, в Цоане, он трижды вышел победителем в состязании борцов.

Пастухи дружили, как родные братья, и всегда пасли свои стада вместе — вместе гнали их в пустыню, к подножию гор, вместе ходили в Синай, к Хореву и к горе Мор. Оба они любили эти походы, один радовался свежему горному воздуху, укрепляющему тело, а другому нравилось одно-

ко мечтать под открытым небом, сияющим безмятежной лазурью.

И вот однажды шли они вместе за своими стадами по пустыне.

— Слушай-ка, — обратился Тахпнес к Моисею.

— Пойдем, поищем пропавшую козу, а то потом ее не найти. Вставай, помоги мне.

— Козу? — спросил Моисей, пробуждаясь от грез, — о какой козе ты говоришь?

— Да о черной, той, что принадлежит пекарю Раамсесу. С самого утра ее нигде не видно. Я уже искал ее с собакой по всей долине, так искал — до самого Синая дошел, но, наверное, надо было идти в другую сторону. Сейчас вот скоро стемнеет, и растерзают ее волки. Пойдем побыстрее, поищем ее на склоне горы.

Неохотно поднявшись, Моисей поплелся вслед за другом. При стадах они оставили подпасков с собаками и, взяв с собою лишь одного крупного пса, принялись карабкаться вверх по склону.

Поиски продолжались около часу, но опять оказались тщетными. Тогда Тахпнес предложил:

— Знаешь что, давай-ка разделимся: я поднимусь с этой стороны, а ты иди туда, к густым зарослям терновника, и собаку возьми с собой — мне она не нужна.

Моисей прошел несколько шагов в направлении кустарника, но вскоре сел прямо там, где стоял. Пес крутился вокруг него, безпрестанно что-то вынюхивая, и нетерпеливо ждал, усаживаясь время от времени рядом с хозяином. Но Моисей сидел неподвижно, и собака, немного полаяв, понеслась большими прыжками вверх по склону горы, за Тахпнесом вдогонку.

Тем временем Тахпнес уже взобрался на вершину и искал там козу за каждой скалой, под

каждым кустом. Так прошло несколько часов, а когда он вернулся, то застал своего друга в том же положении, в каком его и оставил прежде.

— Эй, в чем дело? Я, что-ли, один должен искать, пока ты сидишь и спишь?

— Я не спал, — ответил Моисей.

Тахннес, не говоря ни слова, углубился в заросли терновника и исчез из виду. Несколько часов спустя пес учуял по запаху черную козу пекаря Раамсеса, и Тахннес, поймав ее, взвалил на плечо и вернулся к Моисею.

И снова он нашел друга в той же позе и на том же камне.

— Эй, вставай, вот коза!

Но Моисей ничего не ответил, поскольку на сей раз он действительно заснул. Тахннес разбудил его:

— Вот, я нашел козу! Вставай и пойдем, скоро уже утро.

Молча спускались они в долину. Моисей был очень бледен, колени его дрожали, крепкий и неутомимый Тахннес заботливо его поддерживал.

Когда они подошли к стадам, занималась заря.

II

Позже в Цоане Египетском отмечали праздник Нила. Этот праздник не считается таким важным, как праздник Осириса и Исиды, отмечаемый в Мофе, или как праздник быка Аписа в Но-Аммоне. Только жители близлежащих мест из числа строителей городов-зернохранилищ да еще пастухи посещали праздник Нила, чтобы посмотреть на танцы и увеселения, на прыгунов и борцов. Но бывало, что приходили издалека и вид-

ные знатоки состязаний из народа, и случалось, что они выделяли по своему вкусу кого-нибудь из победителей и уговаривали его отправиться с ними в большие города, чтобы продемонстрировать там свою силу и ловкость пред благосклонным взором высокопоставленных особ.

Четырнадцать обнаженных юношей вышли на арену. Протрубыли трубы, был подан знак, и начались состязания. Трижды пробовал прыгун свои силы и, если ему не удавалось преодолеть установленный рубеж, в дальнейших соревнованиях он уже не участвовал. Атлет Питом прыгнул удачно, и Тахпнес с первой же попытки приземлился далеко за чертой; но Пути, не достигнув отметки, неловко упал и вывихнул ногу. Тогда снова прозвучали трубы, распорядитель подал знак, и юноши приступили к состязанию в беге. Их оставалось всего семеро — остальные потерпели неудачу в предыдущем туре. Среди бегунов вперед вырвался юноша по имени Он, за ним следовали Питом и Тахпнес. Но у Тахпнеса было много друзей и болельщиков, которые неизменно восторгались им и подбадривали его во время бега торжествующими криками, и в самый последний момент он вырвался вперед. Снова зазвучали трубы, и был дан знак, и тогда вышли на арену борцы. Их было всего двое — Он и Тахпнес. Все прочие уже отселялись. Служители обтерли их кусками шерстяной материи и обильно умастили их тела елеем. Борцы подступили друг к другу. Сперва Он обхватил противника за шею и, пригибая его к земле, попытался опрокинуть на спину. Но Тахпнес нанес ему в грудь сокрушительный удар лбом, так что тот, зашатавшись, отпрянул назад. Тогда Тахпнес изо всех сил сжал его левую руку и, когда тот вскрикнул от боли, резким рыв-

ком бросил Она наземь. Потом они схватились снова, потом в третий раз, и Тахпнес вышел победителем во всех трех схватках. Приятели Она из соседних деревень в ярости топали ногами и свистели. А друзья и болельщики Тахпнеса беспновались от радости, приветствуя его восторженными криками. Они пронесли его на руках до самого возвышения, где сидели писцы и судьи. Один из судей вручил ему грамоту, написанную цветными иероглифами на свитке папируса, другой окропил его водою из Нила, а главный судья возложил ему на голову венок, сплетенный из стеблей тростника.

Тесная толпа окружила Тахпнеса со всех сторон, все стремились протолкаться к нему поближе, а прибывшие издалека знатоки ощупывали мускулы на его руках и ногах.

— Если бы он бежал чуть быстрее, была бы у него надежда следовать в будущем году, вместе с другими победителями, за быком Аписом на праздничной процессии в Но-Аммоне, — говорил один из них. Но другой подошел к Тахпнесу и, опустившись на колени, стал щупать его крепкие икры.

— Пойдем со мной, — сказал он. — Я поупражняюсь с тобой, и можешь не сомневаться, что спустя шесть месяцев ты завоюешь в Но-Аммоне также и венок, сплетенный из хвоста Аписа.

Глаза Тахпнеса осветились радостью.

— Иди, иди с ним! — кричали все его знакомые и земляки, и лица их сияли.

III

Потом начался пир. Победитель Тахпнес расположился на возвышении возле священнослужителей и знати, а позади него стоял человек, прочивший себя ему в наставники, — он ни на миг не оставлял славного героя состязаний. Неподалеку пировали деревенские жители со всей округи.

Тогда появился Моисей с арфой в руках. Ступая медленно, словно во сне, он приблизился к возвышению. Тахпнес, увидев его, встрепенулся, вскочил на ноги, освободил место подле себя и нежно обнял друга.

— Споешь нам? — спросил он, указывая на площадку, где выступали певцы и музыканты. Своей мускулистой рукой он стал подталкивать туда Моисея.

— Эй, тихо вы там, Моисей нам споет!

— Замолчите все, Моисей воспоет славную победу нашего героя! — кричали друзья и поклонники Тахпнеса.

И тогда Моисей начал — но не песнь во славу победителя запел он и не его силу восхвалял.

Он пел-рассказывал о том вечере, когда безмолвие объяло пустынью, и он со своим стадом остановился около горы Синай. Пересчитав скот, он обнаружил, что недостает одной козы. Принявшись ее искать, полез он на гору. Уже настала ночь, налетел пронзительный ветер, и молнии плясали среди скал, а между каменными стенами метался гром, но он, Моисей, не останавливалась, продолжал карабкаться все выше. Ему приходилось перепрыгивать через зияющие пропасти и взбираться на отвесные вершины.

Потом буря улеглась, он пробрался с большим трудом через густые заросли — и вдруг глазам

его открылось чудесное и пугающее зрелище. Ослепительно ярким пламенем объят был один терновый куст, он все горел, пыпал, но не сгорал. И парил в том пламени ангел Божий и доносился оттуда зов: "Моисей! Моисей", но подойти ему было страшно. Тогда он снял обувь и сделал два-три шага, ибо не мог заставить себя приблизиться, а тот голос все не умолкал, и стоял Моисей, закрыв лицо руками, — до того страшно было ему созерцать это невиданное зрелище.

И вдруг небывалый, неслыханный доселе шум крыльев наполнил воздух.

И Слава Господня предстала перед ним, и хоть он закрывал лицо ладонями, а все-таки Его видел.

И Бог говорил, и говорил, обращаясь к *нему*:

— Иди, вернись в Египет, и создай для меня народ. Знаешь ли ты, как создается народ?

Всех этих несчастных рабов созови к себе — всех тех, кто стонет под игом невыносимого труда, всех, кто страдает от руки притеснителей и надсмотрщиков, кто не имеет ничего, кроме сердца, а в сердце этом — немножко боли. Говори с ними, и выведи их из дома рабства их, и сделай их свободными, дав им законы и постановления, и сделай их народом.

Люди строят Питом и Раамсес, возводят колоссов до небес, сооружают пирамиды и ставят обелиски, воздвигают на века статуи сфинксов; но все эти свидетельства величия ничто по сравнению с созданием народа. И вот, *ты* создаешь для Меня народ!

Возвращайся в Египет, иди к несчастным, изнывающим под бременем непосильного труда, иди к задавленным и униженным и расскажи им, что они рабы, — хоть они и не поймут тебя; расскажи им, что они несчастны, — хоть они этого и не

уразумеют; что велики их страдания и невыноси-
мо тяжела рука притеснителя, — хоть они и не
проверят тебе. Ты откроешь им глаза на притес-
нения и страдания их и ты их освободишь.

Множество людей из среды братьев по-
йдут за тобою, хоть ты и не знал их и они не зна-
ли тебя; пойдут за тобою и люди из окружающих
племен, чья судьба печальна и горька, и станешь
ты отцом многочисленного народа и главою его
колен, и создашь из червей — людей, из людей —
народ, и из сыпучих песков — страну.

Время не пощадит Питом и Раамсес, рухнут
пирамиды и падут обелиски, а от сфинксов не
останется и следа, — но народ этот будет жив.
Ибо не исчезнет с лица земли племя обездолен-
ных сих до тех пор, пока небеса простираются
над землею.

И вновь воздух наполнился небывалым, неслы-
ханным доселе шумом крыл.

И пылал, пылал терновый куст, а Моше закры-
вал лицо ладонями, но и сквозь ладони ясно раз-
личал Его³²...

IV

Моисей умолк, и все окружающие тоже молча-
ли.

Первым очнулся Тахпнес.

— Но ведь это ложь! — воскликнул он. — Во
всем, что он рассказал, нет ни слова правды.
Сплошная выдумка! Да ведь я же... я сам был
с ним в ту ночь. Мы вместе искали пропавшую
козу! Черная коза пекаря Раамсеса! Мы вместе
карабкались на гору. Но никакого пронзительно-
го ветра тогда не было, был ясный и тихий вечер.
Где он там углядел зияющие пропасти? Что за

гром там гремел у него среди скал? Что ему до пылающего терновника, до ангела Божьего и до самого Бога? Жизнью фараона клянусь, ничего подобного не было! Это я карабкался на скалы, а ему велел поискать козу в кустах терновника, но вместо этого он сел на камень и заснул. Всю ночь я искал пропавшую козу, пока наконец не нашел ее, а вернувшись, обнаружил Моисея все на том же камне, в той же позе. Только презирать его можно за такое вранье!

Публика вокруг пришла в волнение, послышались крики. Моисей стоял, как прежде, без движения, и лишь смотрел своими мечтательными глазами на возбужденную толпу, и при этом лицо его выражало полное недоумение — с чего это они вдруг так беснутятся? Смущившись, он стал искать глазами хоть откуда-нибудь поддержки и вдруг увидел старика-кохена.

— Оставьте его в покое! — воскликнул старик-кохен, по имени Ахарон. — Я буду ему защитой!

Но люди в толпе все так же волновались и потрясали кулаками.

— Нечего его защищать! Убейте его, убейте лгуня!

Тогда кохен подошел к Моисею и обнял его за плечи.

— Выдай его нам! — воскликнул Тахпнес. — Он — обманщик!

— Обманщик, ты говоришь? Нет, ты ошибаешься, он — поэт!

V

И поэзия стала истиной.

Остановите любого мальчика, идущего в хедер с книгой подмышкой. Спросите у него:

— Что произошло у горы Синай?

И он ответит:

— На Синае открылся Господь Моисею, отцу пророков, и он увидел Господа лицом к лицу — так, как не доводилось лицезреть Ему никому на свете, и при этом остался в живых. Ярким пламенем горел терновый куст, но не сгорал, и снизошел к нему Господь и говорил с ним, убеждая вернуться в Египет, чтобы вывести сынов Израиля из дома рабства и привести в страну предков их, — Авраама, Исаака и Иакова. И было, когда ожесточил фараон сердце свое...

Я убежден, что еще очень долго будет он рассказывать вам о горе Синай, на которую снизошел Господь в огне и на которой дал народу Израиля Тору и Закон, а затем привел его в страну, о которой поклялся предкам сего народа, что даст ее во владение их потомкам.

Не исключено, что тот мальчик процитирует вам дословно все то, что говорил Господь Моисею на горе Синай!

И все это — спустя тысячелетия, в наши дни!

Можно ли найти на всей земле место более прославленное, чем Синай?

И при этом Моисея, великого прорицателя и поэта, его первые слушатели назвали лгуном!

VI

Назвать-то назвали, а вот слово в устах его оказалось могущественнее мускульной силы борца.

Победил поэт. Не он, а Тахпнес стал жертвой народного гнева: силача сбросили с высокой скалы, и он разбился насмерть, ибо "проклял Госпо-

да". Его убили через несколько дней после того, как Моисей произнес свою речь. Убили презренную правду, чтобы дать жизнь мечте провидца.

Таков он, Израиль — народ *Израиля*!

VII

Ночью все собирались снова.

— Да станет мечта *истиной*! Да будет Синай для всех народов мира местом, откуда вышла Тора. Сотни миллионов людей да поклонятся пред той горой! — так говорил главный кохен.

— Я первый объявляю перед вами во всеуслышание, что верую каждому слову, произнесенному этим евреем-пастухом. Все это — истинная правда!

— И я тоже, подобно тебе, уверовал в его слова! — присоединился к Ахарону кохен Эльзар.

— И я тоже! — повторил вслед за ним Пинхас.

— И я, и я, и я!.. — подхватили со всех сторон.

И все они поверили, и своими собственными глазами созерцали изо дня в день чудеса и знамения.

Существовал, правда, кроме Тахпнеса, проклявшего Господа и поплатившегося за это жизнью, еще один человек, чьи мысли беспокоили народ. Как быть, если завтра он заговорит по-другому? Этот человек был сам Моисей.

Но и он в свое время отошел в мир иной.

По сей день так никто и не знает, где он похоронен³³.

ПАЛЬМИ

Где ты теперь, Пальми, маленький поэт-философ?..

Пройдя небольшое расстояние — в пределах дозволенного в субботу³⁴ — от железнодорожного вокзала до провинциального городка, уютно улегшегося в долине, можно увидеть на противоположной стороне ее, примерно в двух верстах отсюда, гору, возвышающуюся за последними домиками дальней городской окраины. На вершине горы стоит ослепительно белое здание с зелеными ставнями на окнах. Это белое строение с зелеными ставнями представляет собой желанную цель, к которой с наступлением теплых весенних дней устремляются десятки людей. На самом деле, тот далекий дом — не единственный, их там целая группа. Зоркий глаз сумеет разглядеть издали даже надпись на вывеске, прикрепленной к зеленому шесту, торчащему горизонтально из-под крыши центрального здания: "Пансион и летние квартиры внаем", — зеленые буквы на белом фоне. Это место — не что иное как маленький рай, сокрытый в тихом, безмятежном уголке, далеком от людской суеты и случайных прохожих. И кругом все так зелено, зелено, зелено: зеленые лужайки, зеленые деревья, зеленая ро-

щица чуть поодаль, да и вода в ручье тоже отсвечивает зеленым. И весна в этой местности — как маленькое чудо. Солнце красуется на небосводе, будто его только сейчас впервые достали из темного футляра, и вот с пытливым любопытством новорожденного глязает оно вниз, на новый для него мир, только что сотворенный неким новым Господом. Веет легкий ветерок, настолько нежный, что кажется, будто только сейчас у него выросли крылья и они еще совсем новенькие, мягкие и несмелые — даже слышен неокрепший их взмах. А весна широко обнимает землю: она чувствуется в каждом кусте, в каждом стебельке, в ведре у колодца и в телеграфных столбах, в водосточном желобе на крыше; и выглядит эта весна так, будто впервые спустилась с небес на землю и пока что она — новичок в своем деле, поэтому и разбрасывает свои сокровища полными горстями, без счета, раздает их даже тем, кто и не просил. Словно вечный праздник раскинулся вокруг.

По грязным проталинам, по скользким булыжникам взирается на зеленую гору новоприбывший постоялец-горожанин с рюкзаком за плечами и, преодолев трудный подъем, оказывается, наконец, на небольшой площади, окруженной домиками пансиона. Другой — подпрыгивает на ухабах, сидя в скрипучей бричке, еле-еле плетущейся вверх по проселочной дороге. И вот, наконец, въезжает бричка в гостеприимные зеленые ворота, и в тот же миг спешат ей навстречу хозяин с хозяйкой, горничная и кухарка, и обнаженный до пояса чистильщик обуви, а с ними вместе десятки постояльцев, и все они оказывают новоприбывшему радушный прием. Но их-то, скорее всего, гость как раз и не заметит, почти не об-

ратит на них внимания, поскольку им целиком завладеет некто, и этот некто — Пальми. Пальми до всего есть дело. С первой же минуты гость поймет, что Пальми среди всех прочих — основная фигура, он тут главный заправила. Без него не оказали бы новому постояльцу должного внимания, да и вообще ничего бы не сдвинулось с места.

Пальми — рыжий песик с белыми подпалинами на груди и большими теплыми мечтательными глазами. Полуголый парнишка — чистильщик обуви — достает из брички чемоданы, а горничная подхватывает рюкзак и сумки поменьше; кухарка тоже не стоит в стороне — она берет несколько связок книг и другие мелкие предметы. Но, тем не менее, всем и каждому ясно, что без Пальми вообще ничего бы не происходило. Пальми прыгает и вертится перед нагруженными поклажей людьми, деловито перебегает от одного к другому, путается под ногами и трется о них, обнюхивает ботинки гостя и убегает, потом опять возвращается, и глаза его сияют неподдельной радостью. Кажется, будто он отлично понимает, что тут происходит. Всем существом своим он хочет сказать: "Смотрите, смотрите — у нас новый постоялец", — как если бы держал в своих рыжих лапах бразды правления и вся ответственность за надлежащий прием была возложена на него. И вот что удивительно: паренек и горничная идут с вещами, а Пальми бежит впереди, показывая дорогу, — он наверняка знает, какая из свободных комнат предназначена гостю. Потом — первым прибегает в столовую. Там изрядная теснота, обедающие сидят у столов вплотную, на близко придвинутых друг к другу стульях. Но Пальми отлично знает, куда посадят

нового гостя, где есть место, куда еще можно втиснуть дополнительный стул. Вот почти уже устроил он своего постояльца как положено, но вдруг песик замирает на месте, насторожив уши, и вслушивается. Уловив далекий стук колес и щелканье кнута, он, секунду спустя, устремляется что есть духу наружу, и вся свита следует за ним. Пальми не ошибся: прибыла новая бричка с новым гостем.

Пальми знает постояльцев лучше хозяина и хозяйки, вместе взятых. Создается впечатление, что он может перечислить их поименно. Но иногда, как-то вдруг отяжелев, он теряет интерес к окружающему и, забравшись в какой-нибудь дальний угол и поджав хвост, тихонько стоит там, и теплые его глаза подергиваются дымкой мечты. Он погружен в размышления и, кажется, спрашивает себя в подобные минуты: что тут вокруг меня творится? Что это за суматоха такая, к чему она? Зачем они все так суетятся? А этим людям, что приезжают сюда каждый день на бричках, — чего им, собственно, не хватает, чего им здесь нужно?.. Но всего минуту спустя он, очнувшись, отряхивается ото всех этих бесполезных мыслей. Господи, до чего прекрасна жизнь и наступающее лето, как красивы люди и до чего тепло на солнце! И вспомнив, что у него нет ни минуты свободного времени, он срывается с места и вновь куда-то бежит.

Четыре месяца в году, от середины апреля до середины августа, Пальми живет полной жизнью, насыщенной движением и переменами. Нервы его радостно взбудоражены, мускулы неизменно пребывают в деятельной готовности — вот-вот быстрые ноги понесут его Бог весть куда. Целыми днями он носится: с улицы влетает в дом, из дома

— на кухню, из кухни — в столовую, из столовой — к каждому из гостей, от гостей — снова на улицу. Вот опять показалось, что издали донесся звон бубенцов, стук колес и щелканье кнута. Весь он напряжен, как струна, и его переполняет наслаждение разнообразием этой жизни, каждая частица его собачьей души восторженно ликует.

Особенно дороги ему полуденные часы, когда приготовления к обеду достигают апогея и до того много дел, что шум и суета в пансионе нарастают с каждой минутой. Незатейливая столовая представляет собой большой просторный зал, стены которого выбелены известкой, а столы склонены из простых досок, уложенных вплотную на нехитрые козлы. В разгар сезона, в июле, размещается вокруг столов от восьмидесяти до ста человек, сидящих крайне тесно друг возле друга, и обеденный шум громче с каждой минутой. В этот час Пальми испытывает одну полно-весную шестидесятую долю подлинно райского блаженства³⁵. Все ему некогда: он должен сбегать с хозяином или хозяйкой из столовой на кухню, а оттуда — снова в столовую; он обязан сопровождать каждое очередное блюдо при его доставке и раздаче; и так он непрестанно мечется и шныряет под столами и стульями, будто на нем одном дом только и держится.

Ну, ясное дело, наступают ему время от времени на лапы или пинают ногами, случается ему иногда и повыть от боли. Подумаешь, велика беда. Он ведь прекрасно знает, что сейчас разгар сезона и нечего обращать внимание на такие мелочи. Из еды ему почти ничего не достается ни на кухне, ни в столовой — все вокруг заняты и не обращают на него внимания. Подумаешь, велика

беда. Ему вполне хватит и сухой кости, которую он погрызет и покрошит зубами наспех в каком-нибудь укромном углу, — ведь совершенно нет времени заняться ею посерьезней, — и тут же бросив ее, вернется к неотложным своим заботам: мечется от гостя к гостю, от мужа к жене, от госпожи к гувернантке, от ребенка к старику, и все это в крайней спешке, с добродушным потяживанием, деловито-весело. То он торопит повариху, то — вертится перед хозяином, выражая безмерную ласку, с влюбленной покорностью слегка поворчит на пинок его сапога и снова радостно возвращается к одному из своих всенепременных занятий. В разгар сезона все гудит, словно улей, а Пальми только этого и надо, большего счастья не сыскать ему нигде на свете. Господи, до чего прекрасна жизнь, как благодатно лето!..

А лето всей жаркой тяжестью своей бесцеремонно налегает на землю. Ни один лист не дрогнет на скованных зноем деревьях, ни одно облако не тронется с места во всей небесной шире. Воздух загустел, словно студень. Солнце отбросило прежнюю весеннюю застенчивость новичка, осознав неожиданно свою силу, и являет земле неограниченную свою власть, безжалостно окатывая ее всепроникающим зноем. Нет больше легкого ветерка с его робким взмахом только что выросших некрепких крыл — они словно налились свинцом и бессильно повисли без движения. Повсюду царит зной, плотно облекая все живое, и давит, и сковывает. Укрывайся хоть в тени кустов или даже густых деревьев, а от жары все равно не спасешься. И задыхающийся Пальми тоже иногда забирается, высунув язык, в какой-нибудь укромный угол.

Так проходили дни и месяцы.

Время шло к концу августа. Небосвод, еще недавно прозрачно-синий, затянулся легким маревом неопределенного цвета. Ни весенней голубизны, ни летней лазури — лишь едва заметная мутноватая дымка. Жара постепенно спадала. Теперь не была она столь изнурительной, как в июле, но июльский зной, при всей его силе, был приятен, а эта новая, августовская жара была почему-то всем в тягость. Вечера постепенно удлинялись, и Пальми не понимал, зачем это гостям благорассудилось собираться с наступлением сумерек в столовой, если они не едят и не пьют, а только занимают себя беседой или играют во всевозможные игры. Сердце ему что-то предвещало, но он не понимал, что именно. Какая-то неясная скука поселилась среди отдыхающих.

И вот как-то утром Пальми, забежав в столовую, почуял неладное: здесь произошли какие-то изменения. Побегал туда-сюда, слегка потякал, потом замер на месте. И вдруг понял: недостает двух-трех стульев около одного из столов. Пальми не понимал, почему их стало меньше, почему промежутки между ними увеличились. Невдомек ему было, что ночью, когда он спал, съехали два три постояльца и вернулись к себе домой, в город. Но в следующий миг он уже обо всем позабыл. Суета не утихала, и дел было много.

Небо мрачнело, и кроны деревьев не дышали прежней свежестью. Зелень их слегка поблекла.

А спустя несколько дней настигло Пальми новое несчастье, которого он никак не ждал. Среди бела дня, прямо у него на глазах, съехали четверо гостей, покинув свой стол навсегда. У ворот их ждала бричка. Прислуга погрузила вещи. Люди сели в бричку, возница хлестнул кнутом, послышалось хриплое "Н-о-о-о!", и люди уехали и про-

пали. Пальми не понимал, почему. Сердце его прорезала резкая боль.

И тут беды посыпались одна за другой: стали дуть холодные ветры, тучами затянуло небо, пошел ленивый монотонный дождь...

Пальми застывал, стоя на трех лапах, слегка приподняв правую переднюю, и все размышлял, все пытался понять.

Дождь шел всю ночь, и зеленый забор набух от влаги. По его доскам и перекладинам стекала вода, и вид был у них печальный. Птицы сидели на заборе, зябко нахолившись, и время от времени похлопывали крыльями. Пальми наблюдал за ними из своего угла. Шкура его намокла, и холодная дрожь пробежала вдруг по позвоночнику. Ему было очень, очень грустно...

На следующее утро в столовой недоставало уже более двадцати стульев. И людей стало намного меньше. Вечером разожгли камин.

Дождь шел почти не переставая, и злые порывы ветра налетали один за другим.

Однажды он перескочил порог столовой и не на шутку испугался: было время обеда, а там сидело всего пять человек, да и тех обслуживали уже не так заботливо, как прежде. Большую часть стульев поставили друг на друга, и они громоздились высокой башней в углу. За окном шелестел ливень, завывал холодный ветер. Желтые листья срывало с деревьев и мело по земле. Низкое небо дышало угрозой, и Пальми, глядя на него, вдруг отчаянно затосковал.

Хозяин и хозяйка, кухарка, горничная и парнишка — чистильщик обуви проводили теперь целые часы без дела. Поэтому у них нашлось время и для Пальми: они ласкали его, каждый что-то ему приносил — то кусок мяса, то миску молока.

Но Пальми становилось от этого еще тосклиней: прежде, когда его угождали пинками и наступали на лапы, когда никто не обращал на него внимания и не интересовался, голоден ли он, — тогда ему жилось несравненно лучше. Ведь тогда стояло лето и звучал такой веселый гомон...

И вот, проснувшись однажды утром, он обнаружил, что больше никого не осталось. Все разъехались. Нет теперь ни обеденного часа, ни самого обеда. Да и столы разобраны: их дощатые верхи перекосившейся грудой прислонены к стене, а рядом с ними — козлы. На полу валялись охапки сена и соломы и повсюду были какие-то узлы, чемоданы, ящики. Похоже, что теперь и сам хозяин с хозяйкой собираются запереть двери и ворота и переехать в город. Это — конец. Черная меланхолия охватила Пальми. Он по-настоящему страдал, не понимая, чем провинился...

Низко-низко висело свинцовое небо. Набухали дождем черные ленивые тучи. Падали с неба тяжелые холодные капли. Шли частые ливни. Ветер со свистом скручивал палые желтые листья, разбрасывал их, расшвыривал в разные стороны. Весь мир выглядел так, будто он сейчас рухнет, беспорядочно рассыплется.

Пальми стоял на трех лапах, слегка приподняв четвертую, в мечтательных его глазах читалась грустная мысль. Господи, зачем все это? Зачем все эти люди съехались сюда, почему жили здесь долгие недели — и вдруг ушли? Почему было так жарко и вдруг наступил холод? Почему небо, которое было таким ясно-голубым, прекрасным и нежным, ни с того, ни с сего вдруг помрачнело? Почему льет дождь и воет ветер? Почему бывает лето и зима? Господи, почему? Почему? Почему?..

Пальми тщился понять тайну мироздания, но все никак не мог постичь и малой толики смысла того, что творится под солнцем.

В ЛЕСУ

Лес все шумел и шумел, роптал и гудел, склоняя по ветру высокие свои кроны, словно головы, в неизменном согласии — куда бы ветер ни дул. Так ведь заведено у деревьев испокон веков.

Целый год ежедневно, с утра до вечера, деревья были очень заняты — от корней до верхушек, и не находилось у них и минуты свободного времени, чтобы подумать о душе. Но однажды утром произошло нечто удивительное. Одна молодая ель, взглянув случайно на свой зеленый календарь, побледнела, и заволновалась, и громко закричала: "О Господь, Бог лесов, рощ и самых далеких садов! Ведь завтра — пятнадцатый день месяца шват, завтра — Новый год, а я-то и не знала, совсем вылетело из головы!"

И лесной ветер, всем известный старый болтун, подхватил этот крик и понес его от дерева к дереву. Через несколько минут уже весь лес, от края до края, знал, что завтра — Новый год.

И — словно огромная таинственная рука прошлась ночью по всем деревьям, изменив их волшебным прикосновением почти до неузнаваемости: утром лес выглядел совсем другим.

В первых лучах зари деревья стояли неподвижно, подняв ветви к небу, объятые великим страхом. Сим страхом Господним, длящимся всего

один день в году, думали они искупить все свои проступки и грехи за прошедший год. Так ведь заведено у деревьев испокон веков.

Шел снег. Весь лес кругом, от мала до велика, оделся в белое: каждое дерево окутал сияющий снежный таллит³⁶, на котором вместо кистей повисли длинные ледяные сосульки. Старая акация, известная своей беспросветной глупостью, красовалась в белоснежном чепце.

Великое волнение охватило весь лес и шло оно прямо из глубины древесных душ. Наступило время духовного пробуждения. Вдруг стало понятно, что вокруг хаос и неразбериха, деревья почувствовали свою бренность, никчемность: их молодую поросьль рубят на растопку печей, а стариков — валят и увозят на санях, чтобы распилить на доски... Не позавидуешь ни им, ни их судьбе. В чем же их предназначение? В самом ли деле цель их жизни быть всего лишь неказистыми деревьями, покорно склоняющимися под любым порывом ветра?.. И все они зашумели разом в неизбывной горечи, потому что давно уже накипело у них на сердце и стало просто невмоготу.

Старый усталый вяз, пресыщенный днями, стоял в стороне и хриплым сонным голосом ронял ни на что не похожие изречения и бормотал свои псалмы, а молодой мох, получивший доброе традиционное воспитание, старался вторить ему. Бледное солнце посыпало свои косые лучи сквозь сумрак ветвей, и сладостная нега разливалась повсюду. Вдруг пробудился молодой кустарник сумаха, наделенный музыкальным слухом. Подавший надежды ученик лесной иешивы, призвав к тишине, затянул "Адон олам" ("Владыка мира"). Он слегка коверкал текст, невнятно произнося слова, но зато шли они прямо от сердца. Тор-

жественный молебен продолжался: благочестивый и богообоязненный дуб произнес шахарит³⁷, а могучий раскидистый бук с толстым корявым стволом пропел мусаф³⁸. Ветер с силой протрубил сначала долгие, потом дробные, а потом снова долгие звуки шофара, и вся древесная община зарыдала в голос. Когда дошли до "и мы преклоняем колена", один старый массивный миндаль попытался, кряхтя, согнуться пополам и коснуться ветвями земли, но безуспешно — лишь насилиu выпрямился...

Тяжкий вздох прокатился по всему древесному стану, от края и до края, и шел он из самой глубины души.

Так продолжалось до середины дня, но вот наступило послеполуденное время, и могучий духовный подъем стал потихоньку спадать. Так ведь в лесу заведено испокон веков... Молодая поросль и неокрепшие ростки, слегка пошелестев, были теперь готовы совершить тащлих³⁹; старики стояли, собравшись вместе, и от нечего делать попросту перебрасывались словами, как добрые соседи и родственники. Нешибко далекая умом сосна гордо повествовала единоверцам о своем благословенной памяти дедушке и об отце, мир праху его. Когда дедушке (благословенна его память) пришло время покинуть сей мир, его повалили и распилили на доски, а из досок сработали трон для царицы Савской, чтобы она могла, восседая на нем, править народом; не менее великой судьбы сподобился в кончине своей и отец сосны (мир праху его): его высокий прямой ствол стал одной из мачт на корабле царя Хирама⁴⁰. "Вот счастливчик! Ну и счастливчик!" — кивали кронами слушатели в великой зависти. Сосна подняла взор к небесам и продолжала:

— Если уж такова моя судьба, если в нынешнее новолетие записано в небесной книге, что именно в этом году должна я присоединиться к святым моим предкам, то одного лишь попрошу у Господа, лишь одного, — чтобы умереть мне, как умерли великие мои предки, чтобы кончина моя была не менее достойной...

Однако благочестивый каштан придерживался другого мнения:

— Что касается меня, то я бы попросил у Господа нечто совсем иное. Чтобы, когда я умру, сделали из моих досок кресло для одного из великих раввинов, а из ветвей моих чтобы сделали указку, дабы водить ею по священным буквам во время чтения Торы...

“Бездельник!” — с горечью подумал длинный сухой миндаль, из тех приживал, что нахально сосут животворные соки из ближайших соседей.

Молодая смоковница, бесплодная и одинокая, опустила глаза к земле и очень тихо и стыдливо сказала:

— Если уж умирать, так я бы только попросила, чтобы из моего ствола сделали колыбель для младенца...

Проходили послеполуденные часы. Молодая поросль как-то незаметно приступила к исполнению обряда ташлих. Стоя на берегу реки, деревья с наслаждением стряхивали в воду свои увядшие листья. Юная кокетливая липа затеяла развязный флирт с шаловливым западным ветром, увивавшимся вокруг нее, и они нежно обнимались, отдаваясь рискованной любовной болтовне. Лишь иногда их прерывал голос дряхлого вяза, усталый и сонливый. Он затянул псалмы, бессильно бормоча беззубым ртом:

“Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное...”

Весь священный трепет, с утра переполнявший этот день, понемногу прошел и испарился, и молодежь снова принялась шуметь и задираться, как бывало в обычные серые будни... День медленно клонился к вечеру, но тут лес облетела неожиданная весть. С громким и хриплым карканьем влетел в неровный строй деревьев старый ворон. Все они в один голос закричали:

— Смотрите, вот он — прорицатель, чародей и ясновидец!

Спустя несколько минут уже все — от низкорослого куста до огромного дуба — знали о появлении провидца, предсказывающего будущее.

Молодая липа встрепенулась первой:

— Братья! — воскликнула она, — не послушать ли нам провидца, не заглянуть ли в будущее?

Но весь древесный стан ей ответил дружным смехом, ибо каждый сделал вид, что он тут не при чем и нисколько не верит в подобную ерунду. Но в глубине души всех тянуло поскорее услышать о будущем от черного хриплого прорицателя.

Молодая липа нисколько не церемонилась. Склонив голову, она протянула ворону длинную ветку, к которой тот приник и по ее отросткам начал читать будущее.

— Видишь этот средний отросток? — прокаркал ворон. — Он растет вверх и в сторону и пересекается с другим, соседним. Так вот, знай: не пройдет и года, как срубят тебя и сделают из тебя виселицу. На нее вздернут ни в чем не повинного человека, обвинив его в государственной измене. Недолго будет он биться в судорогах, вися на твоем стволе, — нет, он почти сразу задохнется и отдаст Богу душу, оставив после себя нищую

вдову и голодных сирот. А твоим уделом станет вечный позор и проклятия прохожих...

— Довольно! Довольно! — вскричала липа в паническом смятении и резко отдернула ветку.

Молодой дубок, получивший кое-какое светское образование и слывший вольнодумцем, смело протянул ворону одну из своих ветвей, но при этом недоверчивая улыбка искривила его уста. Внимательно глядя на ветку, ворон прохрипел:

— Не пройдет и девяти дней, как в тебя вонзится топор. Повалят тебя и распилят на доски, а из досок сколотят гроб. В нем похоронят умершего в муках страдальца, и воспоминание о тебе будет вызывать отвращение и смертельный ужас у всякого, кто любит жизнь и ее удовольствия.

Дубок поскорее убрал ветку и сделал вид, будто речь вовсе не о нем.

Вдруг послышался голос старого благочестивого вяза. Он закашлялся, задвигался — наверняка ему мешал ветер, со свистом нашептывающий прямо в уши бессвязные тайны жизни и смерти. Старик прекратил распевать псалмы и протянул ворону одну из своих сухих ветвей.

Ворон изрек:

— Не пройдет и девяти месяцев, как тебя срубят, — только пень останется. Ствол распилят пополам. Из одной половины сделают скамью. Но знаешь ли ты, кто на ней будет сидеть? В зале суда поставят ее и посадят на нее подсудимых. Будут среди них настоящие преступники, но будут и невиновные. Первый подсудимый, человек ни в чем не повинный, станет жертвой страшного навета и подлой клеветы: его обвинят в том, что он пьет кровь детей... Но из другой половины твоего ствола смастерят резное кресло

— для судьи. Восседая на этом кресле, судья решит судьбу того несчастного, вынесет ему приговор и скрепит своей подписью...

Старый вяз закрыл корявое лицо сухими ветвями — он не в силах был слушать дальше.

Понемногу сгущались вечерние тени, и вдруг наступила ночь. Дух святости и обновления исчез окончательно, растаял без следа.

Лес снова принял свой обычный вид. Он все шумел и шумел, роптал и гудел, склоняя по ветру высокие свои кроны в неизменном согласии, — куда бы ветер ни дул.

ЛИЛИТ

Много-много лет назад жил в Пшиске один переписчик Торы — молодой, честный, праведный и богообоязненный. Жил он на чердаке, вдали от суетного мира, в стороне от всех его страстей и соблазнов. Все дни свои он переписывал свитки Торы, писал каллиграфическим почерком на маленьких листках пергамента тфиллин и мезузы⁴¹, и звали его рабби Реувен-Холостяк. Рабби — потому, что он пользовался в общине большим уважением, а Холостяк — потому, что он понял: главное в его жизни — переписывать свитки Торы, тфиллин и мезузы; посему решил он не жениться, дабы семья не отвлекала его от священных занятий. Солнце пересекало голубой купол небес, выходила луна, озаряя черноту ночи и края облаков, — но все это было ему неведомо, всего этого он не замечал. С точным нажимом выводил он аккуратные круглые буквы, снабжая их чудесными сияющими венчиками, писал в священном трепете и чистый сердцем, сосредоточиваясь на каждой букве и на каждом венчике, — ведь каждый отдельный знак требует своего особого настроя. И вслед за теми великими мудрецами, что ему предшествовали, и вместе с ныне живущими он надеялся, что, может быть, ему, столь слабо-сильному по сравнению с ними, — именно ему

удастся приблизить вожделенное Искушение сим священным занятием. Ведь каждый человек во Израиле обязан предпринять подобную попытку. Даже будь то человек самый что ни на есть незначительный, никак нельзя ему отказываться от попытки участвовать вместе с другими в этом великом деле, пусть слаб он и мал, и никак ему не сравниться с другими.

Каждую главу Торы он писал, многократно совершая очистительные омовения. Так тяжело ненавистное бремя долгого изгнания, плена чужих земель. Никаких сил нет терпеть далее и страдать, да и грехи одолевают все больше. Кто знает, может быть, его незначительного усилия как раз и будет достаточно, чтобы в конце-концов довершить великое дело? Глаза у него были маленькие, но временами разгоралось в них столь неожиданно яркое сияние, что лицо его, обыкновенно некрасивое, внезапно изменялось, становясь прекрасным. И телом он был слаб, крайне худ, изможден постами и воздержанием, да и в бледном его лице не осталось ни кровинки. Он все сидел и писал, сидел и писал...

А в Пшиске и окрестностях рассказывали о нем подлинные чудеса.

Когда он еще младенцем лежал в колыбели, как-то раз его отец, простой служка при старом бет-мидраше⁴², завернул его в таллит и принес к рабби Бунему, великому хасидскому цаддику⁴³, что правил тогда всей общиной Пшиски, и рабби Бунем (он был слепой) ощупал младенца своими нежными пальцами, и лицо его просияло. "Со-суд..." — произнес он и более ничего не прибавил. На седьмом году жизни, только-только выучив алфавит, Реувен написал и подарил отцу свою первую мезузу. Позже, когда ему было двенад-

цать лет и девять месяцев, он сам написал для себя тфиллин, причем на этот раз получилось у него просто замечательно. И снова отец его отправился к рабби Бунему с этими листками пергамента, но тот его не принял. Пришлось оставить работу сына в руках прислуги и уйти вовсю. Но когда потом рабби Бунем взял в руки те листки пергамента и провел по буквам своими чувствительными пальцами, как резник кончиком пальца пробует остроту ножа, — он сразу же узнал, чей это почерк. "У этих букв, — сказал он, — особый дух". Потом, уже восемнадцатилетним, Реувен переписал первый в своей жизни свиток Торы. Тогда отца его уже не было в живых, и некому было отнести священный свиток рабби Бунему, чтобы показать ему работу. Но рабби Бунем пришел сам и заказал у рабби Реувена новый свиток Торы для себя самого, причем заплатил за работу золотыми динарами.

Слава о нем прокатилась по всей округе, все только и говорили, что о рабби Реувене-Холостяке, изо дня в день обивали порог его дома и с нетерпением ждали плодов его труда. Те, кому улыбнулась удача, и на косяках их дверей были укреплены мезузы, написанные рукой рабби Реувена, были склонны верить, что многие грехи им прощены. А счастливые обладатели тфиллин, написанных его священным почерком, тешили себя надеждой, что есть у них доля в будущем мире. А тот, кто сподобился владеть свитком Торы, созданным рукою великого переписчика, был убежден, что ему уготовано место в раю. Сотни людей приходили к нему со своими заказами, но рабби Реувен-Холостяк, хоть и писал непрерывно, — дни и ночи напролет, — успевал удовлетворить лишь сотую долю всех желающих.

Были, однако, среди людей и те, кому особенно досаждало, что именно такой человек живет один, без жены. Они сначала сплетничали о нем потихоньку, а потом взяли да и пожаловались рабби Бунему. Но рабби Бунем ответил им приятной улыбкой и следующими словами: "Вы сущие дети. Оставьте его в покое! Живет, значит, без жены — так вы говорите? А вот ему — можно! А что, если с ним пребывает Шехина⁴⁴?.." И начиная с того дня, больше этой темы никто не касался, все как в рот воды набрали.

Так пролетали дни, проходили годы.

* * *

Стояла звезда в зените черного ночного неба, в третьем часу ночи, стояла одна-одинешенька и поблескивала. Тысячелетия назад находилась она в том же месте и светилась точно так же, да и через много тысяч лет останется она все там же и не померкнет. И вот, в безразличном ко всему потоке времен и эпох некогда жил себе на каком-то одиноком чердаке, под самой крышей, некий вполне конкретный человек, обладавший и душой, и телом; иногда смеялся, иногда плакал, временами был уверен, что и небо, и земля принадлежат ему, а иногда случалось, что всего земного пространства было ему мало, — слишком тесно; временами сердце его готово было разорваться от радости и счастья; а иногда мятущаяся душа его сжималась в страшных муках, и он сам не понимал, в чем дело, и не знал, что с ним происходит. А ведь в конце-то концов все, что останется от того человека, — это лишь неодушевленная мертвая плоть, пустая бренная оболочка,

которую поспешно склоняют в сырой яме, зароют в землю со всеми былыми радостями и горестями вместе, и там будет она гнить, превращаясь со временем в тонкую могильную пыль. Зато и тысячелетия спустя будет стоять, поблескивая всегда в одном и том же месте черного ночного небосклона та одинокая звезда. Кому в веренице будущих веков станет известно, как страдал тот человек, что он нес в себе, с чем сражался в душе своей, что причиняло ему боль? Висит холодная звезда в зените ночного неба и неизменно льет равнодушное свое сияние.

* * *

Стоял одуряющее жаркий летний день. Его тяжелый, ленивый и влажный жар напоминал парную баню в полдень перед наступлением субботы. Толстые ватные облака, собираясь в бесформенные груды, летели по небу с какой-то особой поспешностью, словно неслись к заранее намеченной цели. Их темные, тревожно скользящие тени придавали зноному дню несколько траурный оттенок, но рабби Реувен-Холостяк ничего этого не видел и не замечал. Низко согнувшись, сидел он за рабочим столом с пером в руке, закутанный, по своему обыкновению, в таллит. Он полностью отрещился от всего материального, и мысли его были заняты лишь выводимыми на пергаменте буквами. В это время послышался легкий стук в дверь. Стучали очень робко и нерешительно. Рабби Реувен ничего не слышал — он был слишком сосредоточен. Тогда дверь потихоньку отворилась — и вся комнатушка будто наполнилась сиянием. Рабби Реувен ничего не ви-

дел. Он, правда, почувствовал, что в привычную обстановку вторглось нечто новое, но не сознавал, что именно, и продолжал писать. Муха, что ли, ему помешала? Но отогнав ее энергичным взмахом руки и преодолев минутную рассеянность, он снова сосредоточился и погрузился в работу. Так случилось, что именно в этот момент ему предстояло запечатлеть на пергаменте следующий стих Писания: "И не поддавайтесь влечению сердца вашего и глаз ваших..."

Как раз, когда он выводил буквы этого стиха, снабжая их в надлежащих местах сияющими венчиками, его слух уловил чей-то голос. Позади него кто-то стоял, нерешительно покашливая, и вдруг — заговорил. Реувен вздрогнул, как ужаленный: Боже праведный, да ведь голос-то женский! И тут же в голове у него пронеслось: "Голос женщины — словно нагота ее..."

Рабби Реувен продолжал сидеть, как сидел, и, не поворачивая головы, спросил, обращаясь к той, что стояла у него за спиной:

— Кто? — он вообще-то хотел спросить "Кто это?" или "Кто там?", но решил быть краток и потому удовольствовался одним лишь словом "Кто?", согласно велению мудрецов: не будь многословен с женщиной.

— Это я, Ривка, дочь резника...

Голос у нее был нежный, звонкий и певучий — голос хрупкой юной девушки, почти девочки. Лицо рабби Реувена сделалось мрачным и злым.

— Что?..

Девушка ответила:

— Меня послала мать. У нас сегодня резали гусей, и есть перья. Не нужны ли они рабби для работы?

— Оставь их...

— И еще мать не велела говорить о цене. Отец сегодня после полудня придет в бет-мидраш, и там уж рабби ему заплатит.

— Там...

Девушка положила перья на подоконник. Когда она подошла к окну, ее тень упала на пергаментный свиток Торы, разложенный на столе, и скользнула, приплясывая, по буквам. Рабби Реувен сидел сгорбившись, уперев лоб в ладони. Девушка поспешила уйти.

Рабби Реувен вздохнул во всю глубину легких. Судя по всему, тяжелый камень свалился с его сердца. В первую минуту он пребывал в полной растерянности, недоумевая, как ему сейчас следует поступить. Но потом нашелся: встал и отправился совершать очистительное омовение.

Всего несколько часов спустя это незначительное событие совершенно изгладилось из его памяти. Мысли снова стали ясными, ничем не замутненными, и были они чисты, словно горный ключ. Объял его какой-то небывалый покой, все внутри у него пело, звенели тысячи арф, трубили тысячи шофаров. Из каких-то самых дальних далей, из-за поля и из-за леса вдруг донесся до него барабанный бой. Но он не понимал, почему ему вдруг так радостно, — ведь должна же быть тому причина? Ясное дело, омовение в микве⁴⁵ на этот раз подействовало на него чудотворно. С великим рвением он сел к столу и писал непрерывно, много часов подряд. Духовное сосредоточение его было очень глубоким, и незримый свет от букв Торы делал его лицо почти красивым. Худое его лицо светилось, и сияли маленькие глаза.

А эпизода с соседской девушкой как бы и не происходило. Он начисто ушел из памяти и больше его не беспокоил.

Так проходили дни и ночи.

И ночами, в третьем часу, над самой крышей чердачной его комнатушки снова и снова вставала в зените одинокая звезда, излучая холодный блеск.

Минуло около трех недель.

И вот однажды, к концу третьей недели, настала чудесная, умиротворяющая ночь. Повсюду была разлита мягкая полутьма, и весь город погрузился в сон. Бледная невзрачная луна устало плыла по бледному же небосводу; хриплый бой часов донесся откуда-то издалека — пробило три. Где-то за покосившимся забором проснулся дряхлый пес, почесался сначала правой задней лапой, потом — левой, встряхнулся как следует и несколько раз коротко полаял, но тут же, одумавшись, снова уткнул морду в сонные лапы и задремал. Рабби Реувен-Холостяк тоже спал в своей постели, и сон его был глубок — без сновидений и грез. Но вдруг, будто кто-то неожиданно растолкал его уверенной рукой, он проснулся и сел. Сердце его отчаянно и часто стучало, отдаваясь в ушах торопливым боем колокола. Но постепенно сердцебиение утихло, и он успокоился. Однако внезапно чудесная и крайне странная мысль возникла в его мозгу: ну, в самом деле, разве это не удивительно? — ее зовут Ривка, и в ее имени есть буквы "р" и "в", а его — Реувен, и в его имени тоже встречаются те же самые буквы "р" и "в". Разве это не удивительно? В самом деле, не чудно ли, а?.. Но уже через несколько секунд голова его бессильно откинулась на подушки, и он моментально уснул.

Однако через час он проснулся опять. Сперва ничего не мог вспомнить, но постепенно вспомнил все в деталях — и тогда объял его вели-

кий кромешный ужас. Преодолев его мужественно, как лев, он вскочил с постели, поправил на голове ермолку и поспешно омыл руки, дрожа всем телом, как от внезапного холода. Ведь это греховные помыслы! Греховные! Еще какие греховные! Как можно после этого жить дальше!..

Весь следующий день он слонялся, словно тень, и не мог даже говорить. Собственное тело ему было отвратительно — презренный сосуд скверны. Если бы только мог, плюнул бы самому себе в лицо от отвращения, и тогда бы, может, и полегчало. Но что же теперь делать, что делать?.. Семь раз совершил он в тот день омовения, истязал себя, постился и произносил различные чудодейственные молитвы, лишь бы только отдалить от себя проклятую нечисть. Но все было бесполезно. В тот день он даже не приблизился к своему рабочему столу, чистому от всякой скверны, не написал ни единой священной буквы Торы, ибо считал себя недостойным сего высокодуховного занятия. Целый деньостоял он, молясь непрестанно, в большом бет-мидраше рабби Бунема, выходя лишь для того, чтобы совершить омовение и, вернувшись, продолжал молиться; изучал книгу Зохар⁴⁶, читал псалмы. Ночь он провел без сна, опасаясь, как бы не повторилась вчерашняя история, — ведь если такое случится снова, он неминуемо пропадет и никогда больше не будет ему спасения.

Да и в последующие дни не посмел он подойти к своему столу. Смута и растерянность царили в его душе. Временами он застывал на месте и все думал и думал о чем-то, сам не зная о чем.

И лишь на пятый день, после публичного чтения Торы, на его душу снизошел покой. Рабби Реувену неведомо было, как и почему он лишился

душевного покоя, и столь же необъяснимым было его возвращение. Он застывал на месте и все думал, думал — но никак не мог уловить, о чем именно. И снова зазвенели в его ушах звуки каких-то далеких арф. Необъяснимая радость вошла в его сердце, как если бы его пригласили на свадьбу. Бесконечно сладостный покой переполнял всю душу. Тогда он впервые вернулся к письменному столу и вывел первую букву — и ощущение счастья все росло и крепло. При этом все предшествующие события бесследно стерлись из его памяти, как будто провели по ней влажной губкой.

Дни за днями писал он, чистый сердцем, и его душевный покой становился все неколебимей. Был он словно новорожденный младенец. В ясном небе его души не осталось ни облачка, ничто не омрачало ее, и было ему легко, легко. В те дни заказал у него рабби Бунем новый свиток Торы, и рабби Реувен в великой радости принялся за работу.

Шло время. Но вот, две недели спустя, снова случилось нечто странное. Отложив перо в сторону, он просидел некоторое время без дела, разглядывая облака. Неожиданно его охватила глухая, неизъяснимая тоска по чему-то далекому и таинственному, но он не догадывался, что бы это могло быть. Подступили слезы, и он не понимал, почему. Увидев на подоконнике гусиные перья, оставленные там однажды дочерью резника, он никак не мог сообразить, откуда они взялись и кто их принес, но, не осознавая собственных действий, взял их и перенес на тумбочку, не понимая, зачем ему это понадобилось.

На следующий день был канун праздника Йом-Киппур⁴⁷, и тогда произошло нечто странное: во

время послеполуденной молитвы в большом бет-мидраше, когда он стоял, раскачиваясь и перечисляя по порядку весь ряд многочисленных "своих" грехов ("я вступал в запретные соития: с арамейянкой, с египтянкой, с обрученной рабыней, с нареченной другому свободной девушкой..."), в тот момент вспомнился ему вдруг, — непонятно, в связи с чем, — очень нежный, звонкий и ласково-певучий женский голос. Его звучание было до того ощутимо живым, что ему показалось, будто это не плод воображения, а реальность. Неожиданно память подсказала ему, как он еще мальчиком одиноко брел зимней ночью по темной улице, а издали доносился звон серебряных бубенцов, украшавших графские сани, несущиеся ему навстречу. Перезвон тех серебряных колокольчиков очень напоминал голос, звучавший сейчас у него в ушах... В следующую минуту все у него в голове перепуталось, он поймал себя на этих странных мыслях и смущился до крайности...

С наступлением следующего дня, дня Искупления, — Йом-Киппур, он не ощущил обычного наслаждения праздником. Он почувствовал крайнее утомление — от бремени греха, от раскаяния, от раздумий, от всего происходящего. Предельная усталость мешала ему думать. Тело налилось свинцовой тяжестью и невозможно было даже пошевелиться. Но через несколько дней это состояние прошло бесследно, нисколько не задержавшись в памяти.

Потом нечто подобное повторилось и в третий раз, когда вечером, на закате, он направлялся в бет-мидраш. Шел по обочине дороги коротким размеренным шагом, низко опустив голову, — все, как водится, как полагается. И вдруг мимо скользнула какая-то тень, он не уловил, с какой

именно стороны, — впереди или позади него, справа от него или слева, однако, несмотря на это, он был уверен, что сейчас мимо него прошла дочь резника. Но почему-то он никак не мог припомнить, как ее зовут. Мысль эта задержалась не более, чем на одну секунду. В следующий миг он, как и прежде, обо всем забыл. Совершив омовение в мицве, он поспешил вернуться домой и снова сел писать...

* * *

Идет снег, валит с небес, все кружится и падает, кружится и падает. Зимний ветер несет его, вихрь швыряет его охапками из стороны в сторону. Только что чистым был снег, белым и блестящим в нетронутой своей первозданности, словно крыло ангела; только что пахло от него небом, но вот уже его топчут, превращают в слякоть, в грязь. Зимним ветром несло его, было и трепало — а потом истоптали его людские и лошадиные ноги, попростили первозданную чистоту, обратив ее в грязь и мерзкую слякоть.

Так и человек: кружится и падает... Кто укажет ветру, куда ему дуть, кто обуздаст бурю?.. Он был чист и невинен, словно ангел небесный.

* * *

Пятнадцатого швата⁴⁸, в зимний полдень, вошел к рабби Реувену-Холостяку парень, который ему иногда прислуживал. Он положил на стол несколько видов сущеных фруктов, потер друг о друга красные от мороза ладони и отчитался:

— Финики стоили два гроша, изюм — один

гроши и фиги тоже, за стручки рожкового дерева я заплатил два гроша. Всего я потратил шесть грошей наличными и оставшиеся четыре гроша сдачи я кладу вот здесь.

И перед тем, как уйти, он, будто невзначай, прибавил:

— Сегодня я больше не приду. Охота пойти на свадьбу — резник выдает замуж свою дочь, Ривку. — Сказал и вышел.

Услышав это, Реувен сначала не понял, в чем дело. Но и потом, когда все ему стало ясно, сказанное парнем не произвело на него ни малейшего впечатления. Каких-то несколько минут спустя он уже ровно ничего не помнил. Заметив на столе фрукты, он омыл и вытер руки, поправил на голове ермолку, произнес положенное благословение (воздал хвалу "Сотворяющему плод древесный") и принял с удовольствием есть. Глаза его светились радостью, а лицо сияло благодушием.

Однако ночью он страдал бессонницей, не понимая, в чем ее причина. То заснет, то проснется, то заснет, то проснется — такой был у него неспокойный, прерывистый сон.

Встав утром, он почувствовал во всем теле неодолимую слабость. Но слабость эта вскоре прошла. Вернувшись после молитвы, он был снова бодр и спокоен по-прежнему и настроен решительно. Радостно сел к столу и принял писать. Однако к вечеру слабость вернулась, причем в значительно большей степени. Что-то внутри мучительно ныло, кололо в висках и, как он ни пытался разобраться, в чем дело, ровным счетом ничего у него не получалось.

Но вот снова отпустило. Несколько дней он был свободен от прежней необъяснимой внутренней озлобленности, но вскоре недуг вернулся в

еще более острой форме. Вернулись беспричинные покалывания в мозгу, что-то сосало под сердцем. Если бы ему только знать, что с ним происходит! Иногда приходилось ему на долгое время прерывать работу. Часами он расхаживал по комнате, словно во сне, но не имел представления, о чем он грезит. Так мерял он шагами комнату вдоль и поперек, пока в конце-концов не уставал и не садился на кровать. А слабость все росла. Он еще больше побледнел. Чувствовал, что в душе его гнездится какая-то болезнь. Почему-то ныли все кости. В результате он забросил работу совсем, целыми днями и неделями совершенно ничего не делал, а когда люди интересовались состоянием его здоровья, отвечал им невнятно и крайне озлобленно, очень недовольный их расспросами.

Но однажды его словно молнией поразило, и все ему стало ослепительно ясно. Теперь он понимал и причину недуга, и его симптомы, но о раскаянии даже не помышлял. Не постылся и не занимался самоистязанием, как прежде, и никак не пытался преодолеть себя и оздоровить душу.

Но вдруг его состояние снова резко изменилось: пошли дни, наполненные глухой печалью, и он плакал, как ребенок.

Целыми ночами просиживал, раскачиваясь, у стола и во весь голос напевно читал псалмы. Словно охваченный пламенем пожара, он взвывал о помощи — где-то еще теплилась искорка надежды. Может быть, еще удастся спастись? Так звучали псалмы в его устах.

В ночное безмолвие вливался, захлестывая его, неслыханный доселе громогласный напев:

”...Когда приходил к нему пророк Натан, после того, как Давид вошел к Бат-Шеве... Многократ-

но омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисть меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Лишь пред Тобою одним согрешил я, содеяв злое пред очами Твоими... Иссопом очисть меня — и буду чист; омой меня — и стану белее снега. Дай услышать мне радость и веселье — и возрадуются кости, сокрушенные Тобою. Сокрой лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух праведный обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего — Властитель мира, о, Властитель мира! — не отвергни меня от лица Твоего, и духа святости Твоей у меня не отнимай. Верни мне радость спасения Твоего⁴⁹..."

И голос его гремел, все набирая силу. Постепенно вокруг дома собирались мужчины, женщины и дети, и слушали. В глазах их стояли слезы. Не ревел так доселе и дикий зверь в лесу от настигшей его пули, никогда не рыдал так и человек от невыносимых страданий, катаясь в неизбывной боли по равнодушной земле. А в ясном небе мерцали большие холодные звезды; безмолвно глядя вниз, сверкали они на белом, нетронутобелом снегу...

...Временами овладевала им беспросветная апатия. Целыми днями лежал он без движения, укрывшись до подбородка одеялом. Его овевал темный и страшный покой.

И вдруг — встал. Как-то разом проснулся в нем жестоковынный бунтарский дух. Его влекло упрямое, бесцельное противоборство со всем миром, с кем угодно.

Появилось какое-то глухое, невнятное ощущение, будто его ограбили, лишили чего-то самого главного. Только вот непонятно, кто это сделал.

И вдруг он понял: все, все обобрали его, вся Пшииха, все евреи вокруг, вся община окрест, и даже сам рабби Бунем тоже. Они лишили его всего, всего...

И временами все внутри у него кричало: умри, душа моя, с филистимлянами! Умри, душа моя, с филистимлянами⁵⁰!

Охваченный мрачным оживлением, он злорадно твердил: да, многотрудно нескончаемое бремя плена в чужих землях — и хорошо, так и надо, пусть продлится подольше. Тяжело в изгнании? — прекрасно, пусть будет во сто крат тяжелее. Сил больше нет страдать? — а вот поделом им, пусть страдают. Грехи одолевают все больше? — ну и пусть, тем лучше. Все внутри у него пело, словно музыка. Страстно влекло его к какой-то неясной, загадочной мести...

Вся община виновна перед ним, и Бог Израиля виновен, и святая Тора виновна; виновны все — и небо, и земля, все, все... И мысли его начинали путаться.

Но вдруг снова пришло бессилие, опустились руки, омертвела воля.

С тех пор на губах его тонко змеилась странная усмешка, а маленькие глаза стали еще меньше, еще глубже ушли в глазницы и сверкали оттуда великою злобой...

Но при этом вернулся к нему покой. Отныне он снова в великом рвении писал днями и ночами мезузы, тфиллин и свитки Торы.

Прошла зима, наступило лето и снова сменилось зимой, — а рабби Реувен-Холостяк все сидел и писал, сидел и писал, лихорадочно заполняя целые свитки и отдельные листки пергамента.

Но в один из дней Ханукки⁵¹ случилось нечто ужасное, странное и непостижимое, от чего весь

город и вся округа забурлили, словно кипящий котел.

Во время обычной проверки мезуз в доме рабби Моше, подрядчика, обнаружилось, что во всех тех местах на пергаментных листках мезуз, где полагалось бы быть четырехбуквенному имени Бога⁵², появляется совсем иное имя: "Лилит". Расследование показало, что мезузы эти написал рабби Реувен-Холостяк. Тогда начали проверять другие мезузы, и выяснилось, что во всех мезузах, написанных им за последний год, тетраграмматон заменен именем "Лилит". Проверили и тфиллин и во всех них обнаружили это же ужасное имя. Выверили все новые, еще не прошедшие публичное чтение свитки Торы, — и в них повсюду открылась та же святотатственная подмена.

Великий ужас объял всю общину. Слов не хватало, чтобы описать случившееся, слова умирали, не слетев с уст, не успев прозвучать. Все ходили, низко опустив головы, боясь взглянуть друг другу в лицо. Сначала охватило всех неукротимое смятение, потом — великий страх грядущего, и наконец — поголовный траур.

* * *

Когда рабби Реувена привели к рабби Бунему, был он очень тих и спокоен и имел вид человека, зарекомендовавшего себя безупречно, который теперь справедливо недоумевает: а что, собственно, этим людям от меня надо? Вечно они чем-то недовольны. Он сильно пополнел и стал гладок лицом, но его грязно-желтые волосы и борода были спутаны и торчали в разные стороны. Его и без того лишенные всякого блеска малень-

кие глаза сделались еще меньше и слезились, а на тонких его губах постоянно не к месту блуждала веселая усмешка. Он даже излучал какое-то странное добродушие. Раввин общины, все судьи, старосты и служки, да и прочая собравшаяся там публика были поражены до глубины души — таким он стал грузным и неожиданно толстым.

Рабби Бунем уставился в него невидящим взглядом и задрожал.

— Зачем ты это сделал? — спросил он, и в его голосе трепетали слезы.

Рабби Реувен держал ответ совершенно спокойным тоном. Речь его была прерывистой — видимо, ему стоило большого труда привести в порядок мысли, но при этом идиотская усмешка не сходила с его лица.

— Видите ли, рабби, все очень просто. Она принесла перья. Пришла ко мне с улицы, а потом ушла туда же — на улицу. Все очень просто — понимаете, рабби? И однажды снег лежал на земле. Ведь это просто. Понимаете, рабби? А я писал, сосредоточившись, все писал, все писал. И вдруг у меня получилось это имя из первых букв фразы: "Вовеки веков властвует женская рука" ("Ле-олам И-еш Ла-иша И-яд Та-кифа"). Так и вышло — **Л-И-Л-И-Т**. Ведь это же просто, понимаете, рабби? И я написал это имя, и теперь пишу его всегда...

— Кто пришел с улицы? Что за перья?

Рабби Реувен выслушал вопрос невозмутимо спокойно. Даже наморщил лоб, пытаясь как можно более точно сформулировать свою мысль, и отвечал крайне умиротворенно, хоть и слегка заикаясь, но дикая его усмешка все играла у него на губах:

— Видите ли, рабби, нет ничего проще. Я сей-

час все расскажу. С улицы она пришла, на улицу же и вышла. Ведь это просто. Вы ведь понимаете, рабби. И я узнал, что она вышла замуж, а перья оставила у меня. Что же мне было делать? У меня были перья, ну я и писал ими. Разве я непонятно говорю? Вы ведь понимаете меня, рабби? И однажды утром шел снег. Все очень просто. И то имя сложилось у меня из слов: "Вовеки веков властвует..."

— Но Бога, самого Бога как ты не побоялся?

— Ясное дело, рабби, что побоялся! — ответил он, слегка помедлив. — Ведь из страха-то Господня я как раз это и сделал. Разве что-то здесь непонятно? С улицы она ко мне пришла. Потом — вышла замуж. Вот и не осталось у меня другого выхода. А имя ей Лилит, по первым буквам слов: "Вовеки веков властвует женская..."

— Боже милостивый! Что ты несешь?

— Но я же ясно говорю. Все очень просто. Она пришла, и ушла, и вышла замуж. И принесла перья. Проще простого. А имя ей — Лилит. И мне никак нельзя было иначе, ведь имя это получается из слов: "Ле-олам И-еш Ла-иша И-яд Та-кифа". Вот и выходит — Лилит, и ничего больше...

В конце-концов его оставили в покое. Поняли, с кем имеют дело. А он стоял, посмеиваясь, и странен был его смех, и маленькие глаза светились на гладком лице, выражавшем несказанное удовольствие.

Во вторник состоялись похороны: согласно традиции народа Израилева большой процессией хоронили оскверненные свитки⁵³. В похоронах участвовали все жители города, от мала до велика. Синагогальный служка произнес поминальную молитву — кадиш. Шел снег, устилая

землю ослепительно белым сверкающим покровом.

И на Реувена-Холостяка больше не обращали внимания.

Он все так же сидел, сгорбившись, за своим рабочим столом и непрерывно писал. Ни свитков, ни листков пергамента теперь у него не было. Но где бы только ни нащупывала его рука хоть жалкий обрывок бумаги, на нем повсюду — с обеих сторон, на всяком свободном месте — немедленно выводила она каллиграфические буквы: Лилит, Лилит, Лилит.

* * *

Стояла звезда в зените черного ночного неба, в третьем часу ночи, одна-одинешенька, и поблескивала. В том же месте находилась она тысячелетия назад и там же будет она лучиться и тысячи лет спустя. И жил под одинокой крышей один человек, пожил себе — и умер. Он смеялся и пласал, радовался и страдал, прощал себе и с собою сражался — и даже не знал, зачем. Кому в веренице веков запомнится его боль? Висит в ночном небе все та же звезда и льет свое сияние.

ГОЛЕМ

Двадцать восемь лет просидел взаперти великий раввин Лёв Махарал из Праги⁵⁴. Скрываясь все эти годы в своей комнате, будучи погруженным в уединение, он не видел людей и не слышал человеческого голоса. Великая тайна, которую он жаждал раскрыть, не давала ему покоя. Хава, дочь его дочери, передавала ему ежедневно скучную порцию еды сквозь крохотное оконце в двери его комнаты, но когда вечером она возвращалась, чтобы забрать посуду, еда, как правило, оставалась почти нетронутой: великий рабби Лёв съедал ровно столько, сколько было необходимо для поддержания души в теле. Когда случалось, что являлся какой-нибудь особенно настырный гость, который упорно требовал удостоиться рукопожатия самого Махарала, — тогда через форточку в двери просовывались к нему два-три иссохших вялых пальца, но самого великого рабби гостю так и не удавалось лицезреть. И голоса услышать — тоже. Иногда в ясные дни случайный луч забирался к рабби Лёву в комнату, весело перечеркивая всю ее наискосок, но затем неуверенно повисал, подрагивая лишь недолго в спертом воздухе, становился все бледней и тщедушней, пока не истаивал без остатка, однако никто его не замечал. Махарал был погружен в глубины

той великой тайны, которую он исследовал все эти годы. В третьем часу тихой летней ночи, уже предчувствующей рассвет, когда все еще спало, а новый день со свежим утренним ветерком и веселым птичьим щебетом пока лишь потягивался на своем уютном ложе, — ухо отшельника намеренно отказывалось слушать эти бесчисленные посвисты, щелканья и заливистые перекаты: Махарал сидел над страницами массивных фолиантов и пытливо искал. Великая тайна мрачным тяжким бременем лежала на его мыслях и сердце и наполняла все вокруг. В дальнем углу комнаты, под потолком, работая без помех неустанно и кропотливо, паук соткал за долгие годы прочную и сложную паутину. Многочисленные нити ее пылились и тяжелели, провисая вниз серым незрячим бельмом и становясь с каждым днем все крепче и темнее.

Когда великий рабби Лёв, Махарал из Праги, вышел, наконец, спустя двадцать восемь лет из своей комнаты, вид он имел крайне странный и несколько дикий: длинные седые волосы растрепались и спутались, а пустой взгляд бесцельно блуждал по сторонам. Первым попался ему на встречу широкий и радостный солнечный луч, заглянувший в тот момент в окно. Рабби Лёв был вынужден прикрыть глаза ладонью, сложив пальцы лодочкой, чтобы не ослепнуть от нестерпимо яркого света. Второе, что он увидел, покинув долгое свое уединение, была его внучка Хава — и снова ему пришлось защитить глаза ладонью, ибо и на сей раз угрожала ему слепота. Он замер на месте и лишь через некоторое время смог сделать следующий шаг.

— А это кто такая? — спросил он неокрепшим голосом, словно едва научился говорить.

— Да ведь это внутика твоя, дочь твоей дочери Ривки, — ответила старенькая раввинша, его жена.

И вот пришлось старику припомнить многое, о чем он давно забыл. Постойте, постойте, а и впрямь — не было ли у него когда-то давно дочери? Да, как будто была... И вроде бы, если он, конечно, не ошибается, ее и в самом деле звали Ривка.

Хава стояла стройно выпрямившись, с гордо поднятой головой, смело глядя в его глаза, и только молча, про себя удивлялась: что это еще за чудо такое? — волосы растрепаны и вид просто дикий. В ней била жизнь могучим ключом, и искрометный огонь этой жизни освещал все ее существование. Глаза Хавы лучились, лицо сияло, белые ровные зубы блестели, а от волос шел иссиня-черный, ласкающий глаз свет. И вся она была, словно трепетный солнечный луч, который танцуя перебегает из комнаты в комнату, по всему дому. С минуту она стояла, будто ребенок перед каким-то диковинным зрелищем, и во все глаза смотрела на этого растрепанного старика с тяжелыми руками и ногами — вид у него был такой, словно его только сейчас извлекли из какой-то далекой пустыни, — но вдруг на ее устах заиграла легкая насмешливая улыбка, прячась до поры до времени в уголках губ. И великий рабби Лёв сделал еще один шаг вперед — его повлекло нечто таинственное и чудное. Но он быстро очнулся и поспешил уйти. Ему вспомнилось, что на столе в его комнате осталось написанное на листке тайное имя Всесильного Бога, — "Шем ха-мефораш"⁵⁵, — и он забыл спрятать этот листок. После его ухода Хава разразилась громким смехом, звуки которого были слышны далеко вокруг.

Спустя несколько дней вся Прага гудела, словно улей. Из уст в уста передавались вести о чудесных деяниях великого рабби Лёва, о том, что он владеет "Шем ха-мефораш", и о его великих успехах в изучении каббалы. Рассказывали, что рабби, встав однажды утром, совершил троекратное омовение, произнес трижды "Ваэхи ноам"⁵⁶ и с помощью "Шем ха-мефораш" оживил мертвеца. А еще рассказывал как-то один юноша из бет-мидраша рабби Майзлиша, что святой Махарал, пребывая в уединении, посадил в бутылку семя, из которого вырос крохотный гомункулус и все продолжал расти, пока бутылка не стала ему тесна и раскололась, а из нее вышел уже обыкновенный человек нормального роста, и теперь он — лучший ученик великого рабби Лёва. В старой, отстроенной заново синагоге один старик рассказывал, что рабби Лёв создал голема⁵⁷, способного разрушить весь мир, пока "Шем ха-мефораш" находится у него под языком, и только, когда извлекают из него "Шем ха-мефораш", он падает на землю, словно безжизненная глиняная болванка.

А великий рабби Лёв стал ежедневно выходить из своей комнаты и ежедневно возвращался в нее, хмурый и злой, и тяжелая тень омрачала морщины на его лице. Он сам не в состоянии был смеяться и не мог слышать, как смеются другие. Не было у него радости в жизни. "Какая может быть польза от великой тайны? Что за польза от нее, даже когда суть ее раскрыта? Разве это изменит мир? — вздыхал он наедине с собой. — Нет никакого проку в том, что раскрывает ее *один* человек. Каждый обязан раскрыть ее для себя. Все люди *вместе* должны постичь ее в одно и то же время, в один и тот же миг, если мы хотим из-

менить мир и дать жизни радость, покой и удовлетворение. Только тогда смогут люди смеяться, тогда это будет позволительно".

Мелкими шажками шел рабби Лёв вперед. И в этот момент возникла на его пути Хава, само воплощение жизнелюбия. Вот она движется ему навстречу танцующей своей походкой, и никакие тайны ее не заботят, не спрашивает она себя, как жить и что есть жизнь, — она живет и этого довольно. Великий рабби Лёв остановился на минуту и погрузился в размышления. Утомленные веки его смешились. Вдруг он резко встряхнул головой. Нет! Нет и нет! Разве это можно назвать жизнью? Очнувшись от размышлений, он торопливо омыл руки и приступил к послеполуденной молитве.

С вершины Градчан, прямо к дому великого рабби Лёва подлетела роскошная карета, запряженная шестеркой белых коней. Кайзер Рудольф II, который увлекался математикой, алхимией и тому подобными премудростями в поисках все той же великой тайны, послал к еврейскому рабби гонца с приглашением во дворец. Слухи о действиях рабби достигли кайзеровых ушей, и император страстно возжелал познакомиться с этим необыкновенным человеком и побеседовать с ним.

* * *

Назавтра после этого события, в пятницу, в лучезарном море ласкового света засияло великолепное солнечное утро. Рабби Лёв начал готовиться к наступлению субботы: он подстриг ногти, подготовил и нарезал писчую бумагу и от-

правился в микву. Старушка-раввинша, несмотря на одышку, хлопотала на кухне. По всему дому разносился запах только что сваренной рыбы. Хава, тихонько напевая, торопливыми движениями прибирала комнаты. Временами с Влтавы доносился могучий рокот и сладкозвучный плеск изобильных вод. В конце концов Хава добралась до дедушкиной комнаты и принялась убирать и ее.

Волосы девушки стягивал красный платок, завязанный по-деревенски, — узлом на затылке, а из-под красного платка сверкали жгучие черные глаза. Во время уборки она носилась с места на место, из одного угла в другой, громко разговаривая сама с собой. Нет, то была даже не речь, а птичий щебет, и она не перебегала вовсе, а по-просту перелетала с места на место, парила в воздухе. Снаружи, из укромного уголка под крышей, доносилось птичье пение, словно говорившее: "Как прекрасна жизнь!" Девушка постояла с минуту, вслушиваясь, и вдруг запела сама. Между тем, от стола она порхнула к скамье, от скамьи — к стулу, от стула — к креслу, и белое гусиное крыло в ее руке не уставало сметать пыль по дороге. Особенно тщательно обметала она верхние углы, у самого потолка. Добравшись до паучьего угла, она яростно набросилась на многолетнюю тугую паутину, затем — на книжный шкаф, а затем и на сами книги. Под аккомпанемент собственного веселого голоса работа у нее спорилась. Быстро бежали минуты, незаметно пролетел час. Ей стало жарко, она распустила шнуровку на груди — и выплеснулась наружу освобожденная от тесных оков жаркая жизнь.

Неизвестно зачем, она взяла в руки один из толстых, покрытых пылью фолиантов. На

мгновение она замерла, и неожиданные мысли нахлынули на нее. Боже милостивый! К чему вообще эти книги? На что они людям? Хава задумалась. Старик-то наверняка немного тронутый или вовсе не в своем уме. Как он мог взять полновесные семьдесят лет своей жизни и ухнуть все их разом на такую ерунду? Да в одном миге жизни этого залитого солнцем мира больше мудрости, чем во всех его книгах, вместе взятых!

Но в следующее мгновение она уже позабыла и о книгах, и о долгой, растряченной впустую жизни деда, даже мысли о ясном, напоенном солнцем мире, и те пропали. Она стояла у камина и обметала его гусиным крылом. На камине был барельеф, изображающий человека. Нос был отколов. Глядя на поврежденное место, девушка снова задумалась. Ей и прежде приходилось видеть искалеченные фигуры и статуи, но никогда она не задавала себе таких вопросов, как сейчас. Зачем и кому понадобилось портить произведение искусства? Почему запрещено сынам Израилем ваять статуи вообще — создавать объемные изображения?⁵⁸ На мгновение ее охватила грусть. Но уже в следующий миг она увидела на стене дедов штреймл⁵⁹, схватила его и, нахлобучив себе на голову, громко расхохоталась. Осталось только стереть пыль с медной лампы под потолком, и работа закончена.

Но тут она заглянула в дальний угол за камином и так и замерла на месте. Гусиное крыло выпало у нее из рук, взгляд остановился, глаза расширились.

Там, в углу, лежало нечто, напоминавшее человека. Нет, он, конечно, не живой, скорее всего, это какая-то статуя из белой глины, голем, гипсовая кукла.

Огромными глазами, которые от удивления все больше расширялись, вглядывалась она в это глиняное нечто. Ничего более прекрасного она никогда не видела. Лицо, губы, все члены этого неподвижного человека были полны жизни. Она все смотрела и смотрела, не в силах оторвать взгляда. Перед ней был мужчина, но, Боже праведный, до чего он был красив! Внезапно, объятая неодолимым порывом, она нагнулась и дотронулась до скульптуры кончиками пальцев. По всему ее телу пробежал жгучий трепет. Она сняла с красавца шелковый плащ, в который он был завернут, и буквально впилась в него своими горящими глазами. Особенno пленила ее форма рта: он выглядел так, будто с минуты на минуту мог раскрыться и заговорить. Такой рот она видела только раз в жизни. Был один кантор в синагоге рабби Мордехая Майзлиша и, когда он начинал петь, душа ее трепетала, и билась, и металась, словно птица в клетке, — вот у него был точно такой же рот. Но нет, особенно пленителен как раз лоб статуи, и даже не сам лоб, а его изгиб у висков. Господи, Всесильный Боже, ей показалось даже, что она видит тоненькие голубые жилки, выющиеся по нежным вискам. Вдруг ее взгляд остановился на его руке: до чего у него круглые, крепкие мускулы. А эта широкая грудь! Сколько в ней силы и моли! Но тут взгляд ее уже скользнул ниже, к животу... Сильным жаром обдало все ее тело, она застыла неподвижно, и никаких мыслей больше не стало. Минута тянулась за минутой. Откуда-то донесся шум и плеск далекой Влтавы. Девушка опустилась на колени и, припав к статуе, прижала свои жаркие груди к ее холодному телу. Удлиненные веки, подрагивая, постепенно смыгались сами собой — так

сладостно было ей, так хорошо. Не иначе как человек, созданный рукою другого человека, во сто крат более прекрасен и совершенен, чем человек, сотворенный Господом. Она все сильнее прижималась к безжизненной статуе и наконец, не ведая, что творит, приникла губами к губам юноши так крепко, как только могла. О, если бы он сейчас ожил! Возбужденная и раскрасневшаяся, она вскочила на ноги. Изо всех сил притопывая каблуком, она азартно восклицала: оживи! оживи! оживи!

Потом, внезапно остыв, она вспомнила, что последнее время о старике ходят слухи, что он создал из глины голема по образу и подобию человеческому, и может оживить этого голема и снова отбирать у него жизнь, когда только пожелает. И еще пришло ей на ум, что тут все дело в том, что у деда есть листок с "Шем ха-мефораш". Но у кого хватит терпения на всю эту старицковскую чушь? И вот она уже снова в гневном нетерпении бьет каблуком об пол с тем же призывом: оживи! оживи! оживи!

Но голем по-прежнему не подает признаков жизни.

Тогда она обнимает его, целует и, вдохновленная страстью, говорит ему:

— Я люблю тебя, люблю! О, Господи, как я тебя люблю!

И случилось чудо. Прямо у нее на глазах его лицо начинает розоветь, а она стоит и смотрит, не отрываясь, затаив дыхание. Вот, кажется, дрогнули его губы и на мгновение затрепетали ноздри.

— Я люблю тебя, люблю! О, Господи, как я тебя люблю!

Да, произошло невозможное. "Шем ха-мефораш" чудесным образом передал свою животвор-

ную силу юной девушке, та — сообщила ее слову, а слово вдохнуло ее в неодушевленную статую. И вот — статуя задвигалась и открыла глаза.

Хава даже не удивилась — как будто все это было совершенно естественно, и ее только слишком долго заставили ждать чего-то само собой разумеющегося.

Голем некоторое время тер кулаками глаза, а потом широко их раскрыл. Первое, что он увидел, был широкий и яркий солнечный луч, от которого он вынужден был прикрыться ладонью, сложив ее лодочкой, — чтобы не было больно глазам. Второе, на что наткнулся его взгляд, была Хава; и на сей раз он тоже прикрыл глаза ладонью, дабы не ослепнуть совсем. Вдруг, густо покраснев, он схватил свой шелковый плащ и завернулся в него, смущенно прикрывая наготу. Взгляд при этом он отводил в сторону.

Сотни мыслей роились в его мозгу, обгоняя друг друга и переплетаясь, словно могучие струи многоводной реки. О, Всесильный Владыка, где же он теперь находится? И прежний, почти позабытый мир снова вставал перед ним во всех деталях. Чудесные слова и понятия: Бог, душа, небо, священные книги, самоограничение и служение Творцу, рабби Лёв, мир грядущий, райские кущи... До чего хорошо ему было всего лишь мгновение назад, когда он сам как бы и не существовал, да и всех этих слов не было и в помине, как и всего этого мира. Он вспомнил, что последнее, что он держал в руках прошлой ночью, когда угасла его душа и закрылись глаза, — была книга под названием "Молодой лев"⁶⁰. Что-то наподобие тумана заклубилось вокруг, скрыв под собою окружающие предметы. Сердце в груди стало тяжелым, а голова — словно свинцовой.

Перед "Молодым львом", — вспоминал он, — они со святым Махарапом изучали книгу "Зохар". Вдруг стала досаждать ему неясная мысль: вот уже несколько минут как он раскрыл глаза, а до сих пор еще ничем не занимается; и легкий вздох сорвался с его губ: так вздыхает человек, которому предстоит обременительная и неприятная работа, и никуда от нее не уйти. Медленными, короткими шагами прошел он к книжному шкафу.

— Что ты собираешься делать?

Он побледнел, как стена, и глаза его лихорадочно заблестели. Ему почудилось, что зазвенел серебряный колокольчик. А через минуту уже казалось, что это щебечет за окном среди ветвей дерева какая-то птица. Низко-низко склонив голову, он уткнулся в книжные полки, и невнятная речь его была почти не слышна:

— Учиться... То-есть, я должен идти учиться...

При этом он боялся смотреть в ту сторону, откуда доносился чужой мелодичный голос.

Но серебряный колокольчик зазвенел снова. Однако на этот раз слышна была только мелодия, без слов, — Хава громко и заливисто смеялась.

"Учиться он должен..." Нашел, чем рассмешить. Эта идея показалась ей настолько нелепой, что она просто обязана была расхохотаться. Такой молодой — и уже он должен учиться. Такой свежий и полный сил, такой юный — и уже ему надо учиться. Такой красивый, полный жизни и прелести — и уже он собирается убивать себя учением. И она снова разразилась громким смехом. Но вдруг серьезно разозлилась на своего деда.

Она подошла к юноше, словно к старому знакомому и даже другу, с которым можно говорить

обо всем, о чем угодно, — с ним не существует запретных тем и не надо себя сдерживать. Торопливо накрыв своей ладонью его руку, сжимавшую книгу "Слава Израиля", она сказала:

— Ой, глупый голем! Взгляни-ка на меня. А теперь посмотри в окно. Смотри, небо какое синее, а деревья-то как цветут! Какие на них яркие листья и дивные цветы. А эти запахи и звуки, что доносятся со всех сторон, наполняя собою воздух? Тебе и невдомек, что да как, да где, да кто... А там, снаружи, — ветер гладит твое лицо, и сердце твое ширится, ширится, и душа твоя переполняется, и ты вдруг все-все видишь и все-все слышишь, и понимаешь все на свете. А если и осталось что-то, чего ты не успел понять, — о том прощебечут тебе птицы. А ты, глупый голем, ты что — так-таки и решил похоронить себя среди книг? В бумажной пыли и трухе?

Легкая дрожь пробежала по его телу, с шевелящихся губ едва слышно слетали слова: "...небо какое синее, какое синее..." "Слава Израиля" выпала у него из рук и стукнулась об пол, а он погрузился в мечты, будто скованный волшебным заклинанием.

Вдруг он провел рукой по лбу и глазам, словно стряхивал с себя остатки сладкого сна, а затем нагнулся и поскорее поднял с пола пыльный фолиант.

Но девушка взглянула на него так, что под ее взглядом его пальцы, державшие книгу, опалило адским огнем. Она заговорила с ним очень тихо, самым нежным голосом. Но вот что удивительно: при звуках этого голоса в его ушах начинали звучать хриплые наставления ее деда. Однако похоже, что подобные речи способны слетать лишь с женских уст. Почти не слыша слов, он внимал

одному только ее голосу. Не упомянула ли она о старице? Кажется, она сказала, что когда диковатый старец хоронит себя среди мертвых букв — это еще, по крайней мере, можно как-то понять: такому больше нечего делать в этом мире. Но когда юный и бодрый человек, у которого впереди еще столько жизни, что ее можно мерять самой щедрой мерой, размышляет над каждым своим шагом, скрупулезно проверяя мельчайшие шестеренки своего механизма, — такой человек совершает смертный грех против самого себя и своего предназначения, да и против самой жизни тоже. Да, именно это она ему и сказала и еще многое другое...

— Ты ведь еще так молод и так красив...

— Говори, говори еще, — невольно произнес он, совершенно того не желая, — и покраснел.

И она продолжала, но он и сейчас не слышал отдельных слов, а лишь внимал чудесному перезвону серебряных колокольчиков. Раздумье одолело его. Что такое жизнь, зачем мы живем? Да и сам стариц со всеми его многими сотнями книг и глубокой мудростью — не продолжает ли и он доискиваться цели жизни и разгадки ее великой тайны? Вчера, в третьем часу ночи, когда они вдвоем сидели над книгами, стариц вдруг вскинулся и, забегав туда-сюда по комнате, вскричал:

— Нет, нет, нет! Я почти достиг разгадки великой тайны и думал, что теперь мне станет легче, но вслед за нею возникает новая тайна, — и мне необходимо разгадать и ее тоже; но как только приблизится новая отгадка, я убежден, что встанет предо мною следующая, еще более глубокая тайна, и конца этому не будет во веки веков!

Вот чего достиг старец со всеми своими книгами и со всей своей хваленой мудростью. Так неужели не может он, голем, выбрать для себя кое-что получше и, пока рабби продолжает свои поиски, — просто-напросто жить? Ведь он наделен всем, что необходимо человеку для жизни. Способны ли тысячи мудрых речей заменить собою то, что чувствует сердце в один-единственный миг? И разве один миг жизни сердца не стоит всей жизни мозга?

Меж тем Хава все говорила, и он чувствовал, что его больную, опустошенную душу окутывают чем-то мягким, несущим выздоровление и покой.

И он повел ответную речь, слова которой почти ничем не отличались от сказанного ею.

Он вдруг ощущил, что у него есть сестра, нет, она больше, чем сестра, и настолько больше, что даже непонятно, как ее назвать. Лишь одно ему ведомо: что он — несчастный, одинокий и больной птенец, а она укрывает его своим нежным крылом.

Комната сделалась тесной, а слова — совершенно лишними.

Когда они вышли из дома прямо в легкий, прозрачный воздух, сладостная нега охватила их. Рука об руку миновали они парк и перешли через мост. Влтава неспешно катила свои шумные воды далеко внизу, бормоча чудесные заговоры и волшебные заклинания. Широкая дорога привела их прямо к лесу. Могучие стволы вековых деревьев гостеприимно расступились перед ними, приглашая войти.

Лес принял их к себе безмолвно, но зато обратно провожал немолчным шумом, шелестом и гулом. Поглотив их тайну, не менее великую, чем та, другая, он теперь выбалтывал ее всем и каж-

дому. Когда они выходили, солнце смеялось, и ярко желтел на земле песок, и вся зелень вокруг своим сиянием освещала им путь.

* * *

Раби Лёв вернулся из миквы через полчаса. Лицо его светилось первыми отблесками наступающей субботы. Вымытый и свежий, он щеголял в новой рубахе с белоснежным воротом. Жена сразу же протянула ему миску с куском рыбы и жареными на масле оладьями, но он, бросив взгляд на еду, к ней даже не прикоснулся. Войдя в свою комнату, великий рабби Лёв вздрогнул от неожиданности: голем тихо сидел в углу, глубоко задумавшись. Он сам ожил! Рабби казалось, что вроде бы вчера ночью он лишил ученика жизни, снял с него "Шем ха-мефораш", но полной уверенности в этом у него не было. Память иногда подводит. Размеренным шагом, не говоря ни слова, Махарал подошел к шкафу и достал из него "Книгу Разиэла"⁶¹, намереваясь поговорить с любимым учеником о тайне творения и о том, что представляет собою Адам Кадмон⁶², а главное — ввести в суть Бесконечного⁶³. Да, это, несомненно, самое важное. Но голем все сидел без движения. Рабби Лёв в конце концов пристально вгляделся в него.

— Там, снаружи, — тихо, словно во сне, шевелились губы голема, — небо такое синее, такое синее... И запахами, и ветром, и звуками полнится воздух... И деревья цветут и зеленеют... И сердце все ширится и ширится, и все переполняется душа... И птицы своим щебетом радуют слух... А книги — это пыль и труха...

На столе, как всегда, лежат "Молодой лев", "Могущество Господне", "Колодезь изгнания", "Слава Израиля" — все труды Махарала... и при этом голем позволяет себе подобные высказывания?

Рабби потерял дар речи, словно у него вырвали язык. Он решительно ничего не понимал.

— Быть этого не может! Мой голем — и такие речи?!..

* * *

Прошло три дня.

За это время наставник не перемолвился с учеником ни словечком, как если бы тот был ославлен и отлучен от общины⁶⁴. Голем следовал за рабби Лёвом повсюду, словно тень. Что-то неподержимо, как магнитом, тянуло его к наставнику. Образ Хавы постепенно бледнел и таял в его воображении. Если бы ему сказали хоть слово, хотя бы одно слово! Только на третий день к вечеру, между послеполуденной и вечерней молитвой, разомкнул Махарал свои уста и заговорил:

— Горе тому, — сказал он, — кто оставляет жизнь вечную ради преходящих радостей. Те, кто разглагольствует о небе, — мол, какое оно синее, о деревьях, — до чего они, мол, зеленые, о птицах и их песнопениях, — все они за этими разговорами забрасывают Вечное в дальний угол и забывают о нем надолго. Ну и что с того — что им это дает, глупцам? Вскоре настанет пасмурный день, и тучи затянут небо. Вот тогда оно уже будет вовсе не синее, а свинцово-серое. Подует на свежую зелень холодный ветер — и вот она уже

выцветает и вянет. А с приходом стужи птицы больше не поют, а только прячутся где-нибудь в глубоких дуплах. И что же, ради всех этих безделиц, ради пустых иллюзий, которые только-то и держатся, что всего какие-нибудь сутки или неделю, от силы месяц, решается человек оставить то самое Неизменное, из которого дано душе черпать жизненные силы во веки веков?

Голем почувствовал, будто все его тело составлено из разрозненных мелких деталей. Хотел устремить взгляд на наставника, но не смог; тяжким камнем давил на него какой-то неизбывный позор. И захотелось ему вспомнить лес, тот самый густой лес, где он был с Хавой и где его сердце переполняли совсем другие чувства, — но этого он не смог сделать. Ни за что ему не припомнить теперь, почему он там был так счастлив и что это было за такое особенное наслаждение. Скорее наоборот: все это кажется ему теперь до такой степени глупым, что он даже самому себе удивляется: как такое вообще могло случиться? Ведь праведный Махарал абсолютно прав! В самом деле, на что человеку все эти безделицы вроде запахов, цветов и звуков? Ведь все это возбуждает чувства лишь на одно мгновение, в то время как Вечное — вечно, и священная Тора не менялась тысячелетиями, она и теперь такая же, какой была всегда, и еще тысячи лет спустя останется все такой же. То, что я изучаю, — размышлял он теперь, — это мое и останется во мне навсегда, и даже, когда меня уже не будет, — останется после меня навеки.

И на бледном его лице были видны тоска и глубокая печаль.

Измученный, он пошел к себе в комнату. Нагад протянул руку за книгой. Это оказался "Ко-

лодезъ изгнания". Начав читать, он постепенно увлекся. Нападки на рабби Азарию и его книгу "Свет очей"⁶⁵ всецело завладели его мыслями.

* * *

Суббота после полудня.

Сонливым духом разнеженной лени веет от всего вокруг. Голем спит и грезит, наслаждаясь субботним покоем. Снаружи, под жгучим солнцем, томится акация — ей бы сейчас хоть каплю воды. На подоконнике уютно пристроилась разморенная жарой кошка. Солнце пригревает ей спину. Время от времени приоткрываются узкие щелочки кошачьих глаз и взгляд их лениво блуждает по комнате. Скамейка около дома так накалилась на солнце — не прикоснешься. Пылает ослепительно желтый песок.

Кругом тишина.

Из сада доносятся дурманящие запахи. В хрустальных подвесках люстры затейливо преломился солнечный луч, и тысячи бликов всех цветов радуги побежали по стене напротив.

Голем выходит из комнаты в шелковом кафтане, с красным платком на щее. Он направляется в бет-мидраш. Проходя через сад, ненадолго останавливается, потом подходит к садовой беседке и нет больше у него сил продолжать путь. Он присаживается, и веки его смыкаются сами собой. Когда он снова открывает глаза, перед ним стоит Хава.

— Не смей ни на секунду закрывать глаза. Стоит тебе только их закрыть, как я тут же их поцелую...

Бледные щеки его розовеют.

Поспешно встав, он хочет уйти. В голове возникает нечто вроде заклинания, формулы: "Всякий, кто восклицает: как прекрасна нива сия! — рискует душою своей"⁶⁶; некая смутная идея о том, что женщина — дьявол, злое начало, что она вредит святыни. Но до чего отяжелели ноги, ох, как отяжелели. Он совсем не может сдвинуться с места.

— Эй, глупый ты человек. Отныне и впредь я буду для тебя "Шем ха-мефораш". Я буду оживлять тебя, я же буду и лишать тебя жизни! — вдруг заявляет она ему, словно угадав его мысли.

Голем чувствует, что сил у него нет никаких, что бороться с ней он не может.

А она говорит с ним так нежно, и то, о чем она говорит, так прекрасно, что как-то сами собой прекращаются его душевные муки. Внезапно ему становится совсем легко. Вот он уже вообще не понимает, как можно было даже на одно мгновение чувствовать и думать иначе, чем сейчас, как вообще что-то иное имеет право на существование. Теперь он ощущает жизнь, истинную жизнь, и ничто в мире сравняться с ней не может.

— Ох уж мне этот тронутый старикан! — говорит Хава, звеня серебряными своими колокольчиками. — Сам-то он чего умудрился достичь за всю свою долгую жизнь? Ему уже семьдесят, и все эти годы потрачены на пустые грэзы. А последние двадцать восемь лет он просто-напросто сам у себя украд. Ну и что с того? Чего он этим добился! Сущей ерунды; после его смерти все сапожники и портные повесят его портреты у себя в подвалах или на чердаках, но мир при этом останется прежним. Все так же полевая травка будет пробиваться из земли, расти и зеленеть, как

росла и зеленела тысячи лет назад, — пройдут века, и ничего не изменится. И собачий лай, доносящийся до нас, не изменится и сотни лет спустя. Вот сейчас сияет солнце, потом наступит ночь, а ее сменит новое утро; и так же будет всходить и сиять солнце еще через тысячи поколений, так же будет наступать ночь и сменяться утром — до скончания веков. Кому и чем он помог своим уединением и нескончаемыми своими поисками смысла и истины? В чем именно мы совершили шаг вперед, по направлению к какой глубокой идее? Ведь даже зла в этом мире по-прежнему столько же, сколько было давным-давно, когда еще был записан стих Торы: "Помысел сердца человеческого зол с юности его"!⁶⁷

Голем чувствует, что в голове его происходит что-то серьезное. Он сидит неподвижно — молчит и думает.

— Горе тому, — бормочет он, как сквозь сон, не сознавая, что говорит, — горе тому, кто оставляет жизнь вечную ради преходящих радостей... Тому, кто оставляет Неизменное, из коего дано душе черпать жизненные силы во веки веков... Все, изученное мною, — мое навсегда...

— И он, — восклицает девушка, — он, этот безумец, смеет говорить с тобой о вечной жизни и преходящих радостях? Он-то? Пусть только попробует, глядя *мне* прямо в глаза, сказать, что он познал вечную жизнь и что ему известно, что это такое. Да неужели и его самого не грызут сомнения, неужели он не спрашивает себя, очнувшись от дурмана вечных своих занятий, на что именно безвозвратно ушли годы его жизни? Да существует ли она вообще, эта вечная жизнь? А может быть, она всего лишь пустая фраза? Посуди-ка сам, мой милый голем! Ведь ты — человек, ты

можешь видеть, и слышать, и чувствовать, можешь до всего дойти своим умом. Вот и скажи мне: знаешь ли ты, что такое "вечность"? Есть ли в этом мире что-нибудь более настоящее, чем вот эта минута, чем быстротечная жизнь этого часа? Если ты проворонил его и не использовал для себя, ради своей жизни, ради своих же чувств и ощущений, — тогда и в самом деле ушел этот час безвозвратно. Жизнь переходящая, жизнь данной минуты — единственное, что нам дано настоящего в этом мире. Ну а то, что называют вечной жизнью, не что иное как пустая фраза, вводящая в заблуждение выдумка лжецов или безумцев. Жаль каждой минуты, которой ты позволяешь ускользнуть без того, чтобы полноценно прожить ее всем своим существом, всеми силами и чувствами своей души. Ведь жизнь и без того слишком коротка, и ты должен успеть насладиться ею...

Голем слушает, слушает и ему кажется, что и без ее слов он все это уже чувствовал прежде. Все сказанное — лишь тень неясных ощущений, и без того бередивших время от времени его собственную душу.

Он не закрывает глаза, но она все же целует их и целует его и в губы, и в лоб. И он чувствует, что ему становится легко-легко...

Бет-мидраш во время молитвы. Голем сидит, подперев рукой златокудрую голову. Лоб его венчает большой черный куб тфиллин, а он все думает, размышляет.

"Зачем вообще понадобилось ему меня создавать?

Вся беда в том, что мой создатель дал мне, голему, одно тело и *две* души. Неужели так со-

зданы все люди? Мир выглядел бы совершенно иначе, если бы человек был сотворен с *одною* душой, но с *двумя* телами — для двух глубоко различных целей. Ну а у меня что? Никаких двух тел у меня нет, а вместо этого — как раз две души, и вдобавок еще каждая из них влечет меня в свою сторону. Когда говорит Хава, кажется, что в ее словах — истинная правда, и совершенно нечего возразить ей; но когда говорит Махарал, кажется, что его слова как раз и есть самая глубокая истина. Долго ли еще продлится моя борьба с самим собой, а в конечном счете — против меня самого? Неужели каждое мыслящее существо обречено на подобную борьбу? Возможно ли, что конец ей наступает лишь с концом самой жизни?"

Сорвав со лба черный куб тфиллин, голем отшвырнул его подальше.

Чему же отдать предпочтение? Небесному или земному, голове или сердцу? В чем истинная ценность: в красоте или в мудрости, в поэзии или в философии, в вере или в познании? Кто прав: Хава или Махарал?

И он все сидел у стола, подперев светловолосую голову своей красивой ладонью. Солнечный луч задержался на его изящных пальцах, осветив тонкие голубые вены.

Никакого выбора нет и в помине. Либо человек создан таким, что душа его принадлежит небу и к нему-то влечение его, либо он устроен иначе — и тогда его притягивает земля.

Но когда обе природы сочетаются в одном существе, тогда и начинается мука. В том-то и корень зла, что только повлекло тебя в одну сторону, как уже в следующую минуту тянет в противоположную. Вот оно, подлинное зло, — неизбежная двойственность человеческой души!

О, Владыка мира! Когда, наконец, обе эти души отлетят от тела?..

* * *

Выдался ненастный и сумрачный день. Мелкий дождь сеял всю ночь, и утром, и днем, и после полудня. По камням мощеной улицы текла вода, с деревьев капало, и время от времени под резким порывом ветра с мокрых крон срывались частые и сильные струи, но уже в следующую минуту снова моросило мелко и вяло. Местность вокруг обезлюдела и вид имела безнадежно заброшенный и тосклиwyй. Взъерошенная курица копалась в мокрых отбросах, выклевывая что-то съедобное.

После полудня должны были состояться похороны безвременно скончавшегося рабби Мордехая Майзлиша, главы общины. Весь город готовился проводить в последний путь сего благочестивейшего, известного щедрыми пожертвованиями, всеми уважаемого человека. Черные похоронные drogi стояли у входа в дом умершего, наводя на окружающих глубокое уныние, которое усугублялось нескончаемым дождем, непрестанно сыпавшимся с неба. Ученики бет-мидраша "Собрание мудрецов", построенного покойным на собственные средства, пришли оказать учителю последние почести. Были тут и дети, о воспитании которых он заботился, и все вокруг выглядело так, словно весь мир и все живущее собрались сегодня сойти вместе с ним в сырую могилу.

Надгробные речи произносили самые именные жители города. Один из них, рабби Йомтов Липман-Геллер, разглагольствовал о

жизни умершего и о том, что он оставил после себя в мире. Покойный был богат, словно царь Соломон, были у него тысячи золотых динаров и драгоценных камней. И вот, взгляните-ка теперь — положат ли к нему в могилу хоть один золотой динар, хоть один драгоценный камень или жемчужину из всех несметных богатств, которыми он обладал? Но главное не это, а, конечно же, благодеяния покойного... — и так далее, в том же духе. После него держал слово рабби Ицхак-Лейбуш Кац, зять Махарала. Он говорил о Преддверье, что перед входом в Черног, и о самом Черноге, и о том, как надлежит человеку себя вести, чтобы сподобиться войти в Черног; упомянул он и притчу из Мидраша об искусном архитекторе, который возвел для себя Черног, используя те же самые камни, из которых ранее выстроил Преддверье⁶⁸. Его речь очень понравилась слушателям. Вдруг публика притихла, и воцарилась глубокая тишина. Люди шепотом сообщали друг другу, что сам Махарал, который прежде не собирался выступать, неожиданно согласился произнести речь. Все стремились стать поближе к великому раввину.

И рабби Лёв начал говорить.

Но вот что удивительно: все, им сказанное, ни в коей мере не относилось к умершему и никак с ним не было связано. Ни единственным словом не упомянул он о покойном. Голем стоял среди прочих слушателей и ему казалось, что каждое слово, слетающее с уст Махарала, обращено к нему и только к нему одному.

Махарал говорил о мире вечносущем и о мире преходящем, о том, что мы, бренные создания, не имеем о сущем ни малейшего представления; и когда соблазняют нас земные страсти и вводят

нас в грех — тогда мы стараемся убедить самих себя и поверить, что одно лишь мгновение, мимолетное мгновение есть самое главное; нам не дано постичь даже, до чего это глупо и невежественно — стремиться, пусть на одну минуту, уподобить жалкие семьдесят бренных лет, отпущеные созданию преходящему, десяткам и сотням тысячелетий подлинно сущего. Надо быть умалишенным или ослепленным неодолимой страстью, чтобы хоть на одну секунду допустить подобное сравнение.

Голем слушал, содрогаясь всем телом. На миг ему даже показалось, что рабби Мордехай Майзлиш скончался лишь затем, чтобы он, голем, стоял здесь сейчас и великий рабби Лёв произнесил специально для него свою мудрую речь.

И ко всему еще, по пути с похорон домой Махарал отозвал его в сторонку и начал говорить теплые и добрые слова.

— Видишь ли, сын мой, — ласково и нежно убеждал его Махарал, — как бы ты ни старался всеми силами избегать растерянности и смущения, все равно никогда тебе не достичь искомой цели, полагаясь исключительно на ту мысль, что эта земля, на которой ты живешь, — есть единственное подлинно сущее, все и вся, и кроме нее больше ничего нет. Ведь даже если бы ты полагал именно так, а не иначе, — все равно не смог бы ты избежать извечного вопроса о предназначении жизни: во имя чего надо было творить сложнейшее сие устройство и что пользы с того, что мы едим, пьем и спим и получаем от мира сего все возможные удовольствия; какой тогда смысл, например, в камне, который не ест, и не пьет, и не спит, и не наслаждается ничем и вместе с тем и он существует в этом мире и, следовательно, и

у него есть свое предназначение. Таким образом, мы приходим к мысли, что нам, в сущности, неизвестно, в чем состоит истинная цель жизни, и она лишь должна еще открыться в будущем. Из всего этого ясно, что наша жизнь здесь — лишь введение, предисловие к основному тексту книги, а в саму книгу, мы, оказывается, еще и не заглядывали. Подлинная жизнь раскрывается лишь потом, когда для нас начинается небо. Именно так, сын мой! Главное — это небо...

А дождь все моросил потихоньку, так же уныло и бесконечно. Каждое слово, услышанное големом, смущало и терзало его душу. Ему казалось, что как ни крути, но любое здравомыслящее существо должно согласиться с доводами Махара-ла, который был в его глазах человеком Божиим, чья речь — не что иное как пророчество, а каждое слово в ней — неопровергимая истина.

И все-таки, словно туман заволакивал его разум и окутывал сердце.

* * *

Утро.

В то утро они вдвоем поднялись на Соборную гору.

Туман Хава развеяла, целуя его в лоб, а горечь его улетучилась от поцелуя в губы. От целительных поцелуев в глаза прояснился и ожил его затуманенный взор. Отбрасывая по дороге ногою камни с пути, она привела его на зеленую лужайку. И там она говорила с ним, и каждое ее слово было спасительным бальзамом для больной его души и ласкало измученную плоть, словно нежный шелк.

Там, на вершине горы, она прилегла на траву,

положив его голову к себе на колени. Тогда сразу улеглось жгучее смятение, неистово и беспрестанно жалившее его сердце, и он умолк. Вот он сел и смотрит ей в глаза. Вот — ласкает ее, гладит юное тело и при этом чувствует, что самую жизнь сжимает и держит его рука... О, блажен тот, кому дано так обнимать самое жизнь, стиснув ее в крепких своих ладонях и ощущая всю ее целиком!

— Ох, родной мой голем, до чего глупы и невежественны те, кто морочит тебе голову рассказами о небесах! Да ведь они сами все это выдумали. И ты еще должен верить подобной чепухе! Но ведь я здесь, с тобой — ты же своими глазами видишь, что я на самом деле существую. Я тебе не небо, не дух небесный — ты можешь обнять меня и в любую минуту ощутить, как крепко ты держишь меня в своих руках. Вот я, здесь, с тобой — протяни руку, коснись моих грудей, так, обхвати меня крепче, ведь это не дух бесплотный сжимают твои пальцы, это — мое тело, и оно принадлежит тебе. А то, чего нельзя взять в руки, — ложь и обман. Вот небо ты же не можешь потрогать. Того, что не можешь ты схватить рукой, не существует вовсе...

Всей душою он страстно желал, чтобы она никогда не переставала говорить. Ведь любое слово ее уст — учение истинное. Он не в состоянии был понять, что же с ним такое произошло, и как вообще может думать иначе человек, наделенный пятью здравыми чувствами.

* * *

Полдень.

К старинным развалинам собора Святого Вит-та, что на Градчанах, они подошли в полдень.

Внутри собора их обступил тяжелый сумрак. Старик-сторож, сняхнув с себя дремоту и разыскав ржавую связку ключей, ввел их в усыпальницу. У стен поблескивали человеческие черепа, выложенные ровными рядами и глядевшие пустыми глазницами. В одной глазнице зашевелился червь. Голем все стоял и смотрел, никак не мог отвести взгляд, а потом протянул руку к черепу...

Снаружи, на кладбищенском дворе, среди заброшенных надгробий, сидели они одиноко среди сорной травы — и никого, кроме них, больше не было на свете. Что им до всей земли вокруг? Что им вчера, сегодня, завтра? Что такое время? Место? Жизнь? Он нежно обнимал ее, целовал, глядел ей в глаза и целовал снова...

* * *

Вечер...

Они сидели под вишней в саду.

Дерево осыпало их время от времени белыми лепестками. Легкий цветочный снег покрывал их головы, плечи, грудь, облекая в праздничные белые одежды. Девушка громко смеялась. Юноша, набрав полную горсть лепестков, молча протянул их ей, глядя в сторону. Белые лепестки вызвали в его душе неясную боль. Он вдруг вспомнил о смерти.

Но губы его в это время говорили о другом.

Какое синее небо, как нежен ветер, какой яркой зеленью покрыта земля! Чего еще людям надо, почему они копаются, сидя в темных углах, в поисках чего-то, что убивает в них страсть к жизни? Ведь на самом деле у нас нет ровно ничего иного, кроме жизни настоящей минуты! Если я упущу это мгновение, не исчерпав его до предела, если

не успею насладиться мимолетной этой жизнью, — оно не вернется ко мне более никогда, вовеки веков. Чего еще надо всем тем людям, которые ищут что-то, известное одному Господу, и при этом лишь портят себе жизнь своими мрачными мыслями? Кто их просил заниматься этими копаниями, лишь очерняющими скучные дары нашей жизни? Ведь при всем том ничего, кроме мимолетного, у нас нет, и бессмысленно тешиться иллюзиями о непреходящем! А потому — ешь, пей и наслаждайся! Ведь небо тебе не схватить рукой, а того, что ты схватить не можешь, — не существует вовсе...

И он крепко обнимал ее и целовал, время от времени глядя ей в глаза, а потом целовал снова.

И буря в сердце его постепенно улеглась, назойливые вопросы, бередящие душу, рассосались сами собой, и все мысли и сомнения исчезли. Ему стало просто хорошо — сам того не сознавая, он испытывал подлинное блаженство.

* * *

Вечер...

Быстрая лодка несла их по Влтаве.

Прохладный ветерок обдувал их, остужая разгоряченные лица. Девушка, держа легкой рукою рукоять весла, потихоньку гребла, а он сидел на корме, скрестив руки на груди, и мечтал. Время от времени от удара весла на воде вскипала пена, он ловил ее ладонью, и брызги обдавали их лица и одежду, и они вскрикивали и смеялись. Хохотали, как дети. Тишина медленно плыла над берегами и рекой. И оба они задумались, сами не зная о чем.

* * *

Ночь...

Ночью они бродили, тесно прижавшись друг к другу.

Временами доносилось до них эхо их собственных шагов. Кроме них, не было на улицах ни души.

И тысячи голосов, и шорохов, и отдельных неясных звуков накатывались на них из бездны плещущегося вокруг океана ночи. То был рокот, бормотание и невнятный таинственный гул, неизвестно откуда идущий. В поле, по краям дороги, ведущей к лесу, сновали огненные точки. Покрытые светляками, иудины деревья⁶⁹ временами разгорались, освещая им путь.

Крепко обнявшись, они отдыхали на мягком ложе из трав, и ночь облекала их своим покровом. Безмолвная ночь склонила их тайну.

* * *

Великий рабби Лёв нежно обнимал своего ученика за плечи, временами проводя ладонью по его волосам и лбу, глядя и успокаивая его, словно больного ребенка.

Свинцовой тяжестью осени легла на холмы и долины безысходная тоска. Желтые листья слетали с деревьев и медленно падали на стынущую землю. Внезапные порывы ветра приносили тяжелые редкие капли дождя. Кончалось лето, и казалось, что наступает конец всему, — и людям на земле, и самой жизни. Все вокруг дышало тягостным унынием, и так же тягостно и уныло становилось на сердце у человека. С вершины пожелтевшего дерева перелетел на крышу соседне-

го дома ворон с хриплым тоскливым возгласом:
кар-р-р, кар-р-р!..

Наставник обнимал своего ученика, словно больного ребенка, прижимал его к груди, лишь временами отстраняясь, чтобы заглянуть ему в глаза, и продолжал говорить нежно и участливо. Из слов ласковее шелка прял он в утешение смятенной души тонкую нить своих мыслей и чувств.

— Видишь ли, сын мой, — увещевал он, — о некоторых людях можно сказать, что жизнь сильнее их и они не могут совладать с нею. Тогда приходят страсти и влечения и, хотя мы отлично знаем, что именно они собой представляют и куда нас ведут, — нам не под силу преодолеть их. Бывает, например, что юноша возгорается страстью к девушке. Известное дело, это называют любовью. Тогда человек впадает в сумасбродство, с наслаждением отдаваясь своей страсти, и это называется жизнью. Недосуг такому человеку размышлять о Вечном и сущем, пока он живет живою жизнью. Но вот одно здесь для меня непостижимо: неужели не наступает ни одного, пусть единственного мгновения, которое бы заставило этого человека помыслить так: в самом деле, плоть моя сейчас молода, красива и привлекательна до такой степени, что ради нее я отказываюсь от всего, обладающего ценностью непреходящей. Но что меня ждет через двадцать, тридцать лет? Прелестные сейчас розовые щеки побледнеют и впадут, ясноокий взор мой станет подслеповатым и слезящимся, сияющие белизной зубы пожелтеют или выпадут совсем... Так стойти ради нескольких минут, часов или даже дней мимолетного наслаждения жертвовать всем, в чем есть зерно Вечного, всем, что вовеки неизмен-

но? Вот теперь я даю волю страсти, и до чего хорошо мне, пока длится этот один-единственный полновесный миг. Но когда он пролетит, когда развеется пьянящий дурман, одолеет меня безысходная тоска, переполняя душу таким мерзостным отвращением, что захочется плюнуть самому себе в лицо. Поэтому я и задаю всего только один вопрос: неужели не бывает ни одной такой минуты, которая бы привела этого человека к подобным размышлениям?

Как больного, прижимал он ученика к груди, и слова его были мягче шелка.

Голем побледнел, и сердце его трепетало.

Постылая безнадежная тоска висела надо всей округой. Казалось, что с наступлением осени приходит конец всему живому. Все вокруг выглядело предельно усталым и безрадостным. Какой в этой жизни прок? Даже складываясь удачно, какое благо она нам приносит? И чем чреват иной, следующий миг, летящий вслед за благостным мгновением? И что проку нам от самого блага? Блажен, кто возьмет да и разобьет его о камень!

Голем чувствовал, что каждое слово учителя истинно и справедливо, словно сошедшая с небес Тора. О, Владыка мира! Как только мог он не понимать всего этого до сих пор? Как он мог, пусть лишь одно мгновение, думать иначе?

Поздно вечером, когда все уже спали, голем продолжал расхаживать взад и вперед по комнате, и его занимали все те же мысли. Однако в назначенный час он все же поспешил в ночной сад, к беседке, где ждала его Хава.

* * *

Целый год трудился голем над записями своих воспоминаний. Книга получилась просто замечательная. Если одна глава казалась выведенной рукою Махарала, то следующая выглядела так, будто ее писала Хава. Однако ни Махарал, ни Хава к сему труду не прикасались — от первой до последней буквы его создал сам голем.

Воистину, жизнь его была разорвана в клочья, разорван и разобщен был его смятенный дух: попробуй-ка, поживи с двумя душами в одном теле — и не день, и не год, а целую жизнь.

Зачем, зачем Махаралу потребовалось его создавать? А если уж все-таки он создан — зачем понадобилось вселять в него две души, каждая из которых влечет в свою сторону?

Что же для него предпочтительней? Небо или земля? Мозг или сердце? Мудрость или красота? Философия или поэзия? Разум или чувство? Душа или тело?.. Махарал или Хава?

Вот из этих-то изнурительных борений и поисков и родилась его книга. Его устами говорили поочередно то Махарал, то Хава.

О, Владыка мира! Когда всему этому наступит конец? И каков он будет, этот конец?

Прошла зима, вернулось лето, но и оно пролетело безвозвратно, и вот уже опять близились зимние дни.

* * *

Первый день праздника Рош-ха-Шана вывел из домов еврейского квартала на улицу чуть ли не все его население. Большая толпа единоверцев, гудя, как пчелиный рой, текла по направлению к

Влтаве. На берегу реки они намеревались совершить обряд "ташлих".

Юноши и старики, женщины и дети — словом, вся община собралась, чтобы стряхнуть в воду грехи минувшего года.

Солнышко еще пригревало, но дух человеческий уже трепетал и наливался тяжестью в преддверье Грозных дней⁷⁰.

Старушка-раввинша, стоя на берегу реки, смиренно молила о прощении, выворачивая над водой карманы своего платья. Старый рабби Лёв, совершая ташлих, вдохновенно молился, надеясь, что осенняя Влтава навсегда унесет вниз по течению его прегрешения. Подошла к берегу легкой походкой и Хава — она остановилась и стала бездумно вытряхивать над водой карманы, сама не понимая, зачем. Но вот поплыло по небу маленькое белое облачко, и оно тут же всецело за-владело ее вниманием.

И голем тоже пришел.

Он все стоял, глядя в воду, и вода манила, влекла его к себе...

"...И Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши"⁷¹.

А грехи тяжелы, ох, как тяжелы, и кто бы ни бросал их в воду, они тянули его за собой.

Вот падают грехи, погружаются в воду, уходят на дно. Но до чего неодолимо тянут за собой стряхивающего их — ох, как влекут они за собой бедную смятенную душу!

Не правильнее ли поступит человек, если не станет стряхивать их по одному, а отринет все сразу, да еще вместе с их вместилищем — своей душою, если сам вместе с ними низринется в воду? На что нужна человеку эта разорванная, расщепленная, раздвоенная жизнь?

Но если здесь и сейчас оборвется его расколотое в щепы существование, означает ли это, что прекратятся такие же расщепленные жизни всех других людей?

Но разве не сказано: "Не по своей воле ты живешь"⁷²? И он решает повернуться и уйти.

Минуту спустя внезапно раздался над водой приглушенный крик и всплеск...

* * *

Рыбаки вытащили голема из реки и принесли на руках в дом великого рабби Лёва.

Голема вернули к жизни совместными усилиями — была в том и доля великого рабби Лёва, вновь употребившего "Шем ха-мефораш", и доля Хавы с ее страстными восклицаниями.

Когда я был в Праге, мне его показали издали на улице — он жив и по сей день.

Но мне довелось его видеть также и в других городах.

ЛЮБОВЬ

ВЕЗУВИЙ

Везувий проснулся. Словно огненная лава, прокатился слух, передаваемый из уст в уста: Везувий проснулся. Люди сообщали это друг другу, и слова замирали на устах: Везувий проснулся... Ужасом искаjались лица.

Днем лик Везувия был черным, гневным и таинственным. Среди ярких жизнерадостных виноградников протянулись от его подножия глубокие и бесплодные расселины, изрезанные полосами давно застывшей лавы, среди которой попадались и взмывающие, словно пенные гребни, скалы: мрачные волны первозданной пучины, внезапно застывшей в полете. Широкие каменные ручьи с грудами вулканического шлака спускались по склонам, достигая полного тихой жизни лазурного моря.

А в ночной тиши вулкан подал свой первый знак: словно великан-чревовещатель, он заворчал прямо из чрева земного. И вдруг умолк, как бы набирая воздух в легкие, и потом прокатился глухой сдавленный голос, словно скрытый гром, под поверхностью земли, коротко погромыхивая раз и другой, раз и другой, пока не перерос в могучие грозовые раскаты, напоминая рык разъяренного льва, переходящий в устрашающий рев, — раз, и еще раз, и третий, чтобы потом умолкнуть и

одним безмолвным прыжком настигнуть жертву.

Мгновение спустя разразилось землятрясение, обрушилось на мирные селения великое бедствие. С утра до вечера содрогалась и ходила ходуном земля Кампани. Дома рушились и рассыпались в руины. Дневной свет померк, и настала ночь. Алые сполохи временами озаряли небо, вулкан бурлил и трясясь.

И у всех лишь одно было на уме: вот оно, светопреставление Господне! Весь мир рушится, возвращается в первозданный хаос!

Из жерла вулкана поспешно рвутся ввысь тяжелые черные клубы дыма. Достигнув неба, они превращаются в белое светящееся облако. Вслед за дымом вылетают комья кипящей серы, разбрасывая белые молнии. И вдруг — громадные раскаленные валуны, расплавленный металлический шлак и обломки скал, подобно сеющим искры факелам, изрыгает разгневанное чрево так высоко, что и не видно их совсем за низко нависшим облачным покровом. Взлетают один за другим цветущие пламенем длинные жезлы — словно удочки для ловли звезд небесных. Затем неожиданно — наступает тяжелое, страшное безмолвие. Но вот еще один взрыв, катится неслыханной доселе мощи грохот, и сноп огня, словно гигантский колос, встает до небес, рассыпая вокруг вихри сполохов. Высоко пляшет пламя, заходясь в яростном танце, глухими сдавленными залпами стреляет гром, и весь вулкан — словно невиданная артиллерийская батарея, направляющая по единому приказу во все стороны одновременно шквал огня.

И в душах всего живого — лишь одно роковое чувство: вот он, конец света!

В невиданной ярости хлещет лава, вырываясь

из жерла и трещин горы, — она катит гневные свои волны по глубоким ветвям расселин вплоть до самых лесов, заливая всю землю вокруг.

А жители Расины, Фортинчи и Торе дель-Греко, словно обезумев, смотрят остановившиеся глазами, как на ходу меняет направление огненная река. Глубокое поперечное ущелье на мгновение останавливает неумолимый бег лавы. Ринувшись в него, лава ищет выхода и находит его в предместьях обреченного Торе дель-Греко, обитатели которого тешатся надеждой на спасение. С новой яростью летит смертоносный поток по крутым склонам, погребая под собой цветущий город. Миг спустя десятки тысяч людей уже бегут сломя голову в поисках спасения к морю. Еще стоя одной ногой на берегу, они, оглянувшись назад, видят, как змеиные извивающиеся языки лавы набегают на падающие крыши домов; как рушатся с грохотом величавые башни, как дворцы и соборы превращаются в развалины, а грозный рокот вулкана только лишь набирает силу. На следующее утро от Торе дель-Греко не остается и следа.

Бурные потоки лавы бегут теперь непрестанно, выплескиваясь снова и снова в мрачной поспешности. Неумолимому их бегу даже море не препятствует. Гневно шипя и извиваясь, лава мчится вперед, вот она уже лижет морские волны. Вдоль всего побережья закипает вода. Брюхом вверх всплывает несметное множество сварившейся рыбы. Она тихо покачивается на волнах, плотно устилая поверхность воды.

Над страшной картиной разрушения и гибели встает траурная заря. Исчезли дымные языки пламени над жерлом вулкана, но и его самого не видно тоже. Он окружен теперь черной плотной

стеной. Чёрное покрывало стелется над морем и над заливом. Дождь из пепла и золы осыпает Неаполь и окрестности, окутывая серым саваном кусты и деревья, дома и улицы.

Всходит тусклое солнце. Наступает утро. Безнадежно тяжело на душе. Люди утратили веру в жизнь...

* * *

По Неаполитанскому заливу скользит лодка. В ней стоит лицом к берегу юноша и, созерцая картину гигантского разрушения, шепчет себе: "Но ведь есть в мире нечто сильнее, во сто крат сильнее этого разрушительного огня. Это — моя любовь!"

ВОДОПАД НИАГАРА

Как была создана Ниагара?..

Небо и землю сотворил Господь, и все воинство их, и все, населяющее их, и в день шестой завершил деяния Свои. Но свершилось чудо. В Его несметной сокровищнице оставалась еще неиспользованной энергия во сто крат большая, чем та, что пошла на сотворение мира. Тогда-то Он и сотворил в русле потока Ниагара этот водопад.

И дал ему уста, дабы громоподобная речь его была слышна по всей округе; и лик подарил ему великолепный и блестательный, сияющий всеми цветами радуги; и чудесной шевелюрой осенил чело — пышными облаками до самого неба; и слуг к нему приставил — ветры, грозы и шквалы, чтобы оповещать о нем из далекого далека: их шум и могучий грохот сотрясает воздух Козьего острова денно и нощно.

Со всех концов света съезжаются люди, чтобы взглянуть на это чудо из чудес, сотворенное во лье Господа, и ползают внизу в презренной своей гордыне, и глазеют, разинув рты, и лепечут что-то о мелких чувствах крохотных своих сердец — до чего, мол, впечатляющее зрелище. Но могучий водопад царствовал здесь и тысячелетия назад, множество забытых поколений назад, когда этих червяков-человечков не было и в помине,

ведь они созданы, чтобы заполнить лишь ненадолго какие-то случайные пустоты в череде веков; и будет он царствовать здесь еще многие сотни и тысячи лет спустя после того, как эти ничтожные червячки отойдут в мир иной, присоединившись к себе подобным, прежде них умершим братьям, неразличимо смешавшись в один общий прах.

Решив позабавиться, Бог взял океан-море да и поставил его вертикально, вытянув в длину: один конец в облаках, а другой — в самой глубине бездны, так и поставил его гигантской водяною стеной. И стоит море перед нами дыбом — и шумит, и волнуется, и пляшет, и плещет.

И видишь высокий обрывистый берег, поросший густым лесом, и поражаешься мощи огромных масс воды, срывающейся с головокружительной высоты толстыми тугими жгутами вниз. И жгуты воды эти превращаются в мгновение ока в облака кипучей пены. Грохочет могучий поток, и глаза невозможно оторвать от его сверкающих чар, и нет предела безудержной смене всех цветов радуги в его струях. Тысячи бурных волн, ринувшись вниз, с шумом разбиваются там, а снизу восходят тяжелые влажные волны тумана, морясь дождем и разбегаясь в стороны, окутывая сумраком все вокруг.

И слышен оглушительный рев, словно грохочут одновременно сотни тысяч громов; и слышен пронзительный вой, словно воют сотни тысяч штормов, и бушующие горы воды рушатся в пропасть и разбиваются о скалы.

И чувствует душа свою головокружительную слабость, страх и ошеломление — не в силах она вместить в себя это великое и ужасное зрелище; она обидно слабосильна перед величием подобного чуда.

Таков он, водопад Ниагара, в том месте, что носит название "Подкова".

Ты входишь, окутанный облаком мелкой водяной пыли, в "Пещеру ветров" внизу, под водопадом, — тебя просто-напросто вносит туда огромной силы свистящим ветром; и оглушает тебя грозовой грохот, и слепят глаза твои яростные вихри брызг. А ветер все толкает, пинает и безостановочно хлещет тебя своею плетью — вот-вот схватит, свернет в бараний рог и одним ударом размозжит о скалу.

Сущий потоп стал вертикальной водяной стеной; он устрашающе грохочет, и шквалы дождя обрушаются на землю, и буря непрестанно свистит и воет, разгуливая среди согбенных фигурок, но при этом хрустальная стена пещеры излучает чудесный свет. Однако лишь минуешь эти "врата ветров", сразу же глазу откроется чудесное зрелище: первые накаты воды, предвещающие могучие воды потока. Волны становятся все выше и полноводней, множится и растет белоснежная пена, волны бурлят, смешиваются в диком реве, сливаясь в изумрудно-прозрачный монолит, и со стихийною силой срываются в бездну, где и разбиваются на сонмы бесчисленных капель.

Весь мир кругом одет белой пеной, и паром, и плотным влажным сумраком, кипящая водяная пыль пронизывает воздух.

Заглянув лишь на миг в пропасть "Подковы", сразу же отпрянешь в ужасе — до того мрачна она и глубока; однако оценить всю ее непостижимую глубину можно лишь в тот момент, когда ветер снесет в сторону пар и водяную пыль.

Бездна кипит и устрашающе шевелится, перемежая рокот с диким ревом; она перекатывается, разбрасывая пену, и словно тростинки, пляшут

в потоке огромные стволы вырванных с корнем деревьев.

* * *

...А на висячем мосту стоит девушки и, созерцаая все эти чудеса, тихонько шепчет себе: "Но ведь есть в мире нечто сильнее, во сто крат сильнее этого громадного водопада. Это — моя любовь!"

”ВЕЛИКАЯ СМЕРТЬ”

Идет великая смерть — ”Черная чума”. Началась она почти незаметно. От легкого ее прикосновения на темном чердаке умер ребенок, а несколько часов спустя скончались все обитатели этого дома. Через несколько дней вымерла вся улица, а спустя несколько недель обезлюдел весь город.

Идет великая смерть.

Из города пошла она по губернии, из губернии — по всей стране, по многим ее губерниям; в живых оставался один из ста, двое с целой улицы. Вся страна была как лес в сухостой — охватив одно дерево, огонь перекидывался на соседнее и бежал все дальше и дальше, безжалостно поглощая древесный стан.

На сей раз смерть не подкрадывалась по своему обыкновению, словно вор, чтобы унести одного или двух; нет — она явилась среди бела дня, как грабитель с обнаженным мечом в руке, — и нападала на целые толпы под полуденным солнцем, разбивая их наголову, без остатка.

Смерть настигала народные толпы в разгар праздника. Люди, одетые в многоцветные праздничные одежды, падали на городских улицах, как подкошенные, — был среди них и комедиант

в колпаке с бубенцами, и танцовщица в узорном платье с блестками.

Богатые и состоятельные горожане спасались бегством в отдаленные деревни и в заморские страны; а безденежные — оставались в городе, прячась в своих домах, и не открывали никому. Брат скрывался от брата, опасаясь протянуть ему руку. Ребенок бился в судорогах от боли, а мать сломя голову бежала от него на улицу, чтобы не заразиться. Никто не интересовался друг у друга, что происходит на соседней улице, — услышать об этом и то было страшно. Даже близкие люди не вступали в общение, чтобы не узнать лишнего. Если приходилось иметь дело с деньгами, они не передавались из рук в руки, нет, — их протягивали друг другу на жестяном совке.

Опустели улицы, дворцы превращались в разбойничьи логова, и воровские шайки, спокойно разгуливая по улицам, беспрепятственно наполняли мешки краденым. Церкви и синагоги были обращены в больницы, но не могли вместить всех заболевших.

Словно сухие листья с деревьев, ежедневно падали на улицах трупы: по сто человек, по пятьсот, по тысяче, по две, а то и по три тысячи в день. Словно сор, лежали тела на улицах; как навоз на земле, лежали они, но оставшиеся в живых старались не смотреть, не замечать их.

Могильщики перестали их хоронить, и они так и оставались лежать, где попало. А бывало, что хоронил кто-нибудь ближнего своего, но вскоре падал в яму рядом с ним.

* * *

...А юноша и девушка, крепко обнявшись, не-
жно шепчут друг другу: "Но ведь есть нечто и
посильнее, во сто крат сильнее великой смерти.
Это — наша любовь!"

СКАЗКИ

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

Такая она длинная, такая высокая! Одним концом стоит на земле, а другим — упирается в небеса⁷³. Кто знает, какой она длины? Может быть, миллиард миль, может быть, два, а может, — и все три.

И вверх, и вниз по ней поднимаются и спускаются ангелы, непрестанно — и вверх, и вниз.

Некоторые люди, осененные Божественным благословением, иногда слышат в ночной тиши как будто бы плеск набегающих друг на друга бесчисленных волн; на самом же деле — это плеск крыльев восходящих и нисходящих ангелов.

Что касается нисходящих, то тут тебе, сыночек, должно быть все понятно: это ангелы небесные, они с небес спускаются на землю. Но есть ведь и восходящие...

Тут я вдруг прервал мамин рассказ:

— А восходящие? Откуда они поднимаются? Неужели с земли? Неужели есть ангелы и на земле тоже, если уж с земли они восходят?

— Да, есть. Есть ангелы и на земле. Их, правда, очень немного, но они такие чудесные, необыкновенные. Может быть, один в целой стране, и уж никак не больше двух в каждом поколении, но наверняка они есть. Они чистосердечны, как дети, и похожи на провидцев, людей духа, они —

как пророки и люди Божии. Придет время, когда ты это поймешь, сыночек. А сейчас будет вполне достаточно, если ты поймешь, что и ими, и ангелами небесными, движет похожая страсть: небожителей влечет она покинуть небеса и взглянуть на происходящее на земле; а ангелов земных тот же порыв побуждает покинуть землю, чтобы посмотреть, что происходит на небесах.

Вот и стоит лестница на земле, упираясь верхним концом в небо, а ангелы по ней все поднимаются и спускаются, поднимаются и спускаются.

И где-нибудь посередине встречаются восходящие ангелы с нисходящими.

— Мир вам!

— Мир и вам тоже!

И они протягивают друг другу правые крылья.

Поздоровавшись, они стоят и беседуют, словно братья при встрече на одной из городских улиц; они расспрашивают друг друга, как кому живется, и делятся впечатлениями.

— Что нового на земле?

И восходящие неизменно отвечают одно и то же: все плохо, ничего, кроме плохого.

— Плохо на земле, ох, как плохо. Прошли добрые старые времена. В прежние годы жилось несравненно лучше — так и деды наши рассказывают, так и сами мы чувствуем. Когда-то давно еще хотели люди добра и справедливости, стремились к миру и добродетели, жили честно и умиротворенно. А теперь что? Ни истины, ни справедливости. Дух лжи и обмана царит везде — нет ни слова правды и принято кривить душой. В сердцах человеческих нет любви — одна только ненависть и месть. Люди стали хуже хищных зверей, большинство из них — либо преследователи,

либо жертвы. Никто не помнит, что и ближний, подобно ему самому, сотворен по образу и подобию Божьему, и каждый только притесняет ближнего. Сколько может это продолжаться? Утомленный не знает отдыха, и беглец не находит пристанища. Пусть чистое сердце и сжимается при виде всех этих злодеяний, но иногда даже и оно ищет оправдания притеснителям: как можно обвинять этих людей, если за хлеб насущный они борются и потому поступают так дурно и грешно. Ибо в поте лица добывает человек свой скучный хлеб, да и тот не всегда достается голодному. Но при всем том, всегда и всюду плохо, ох, как плохо на многотрудной земле. Повсюду царит бездуховность, и ох, как тесно, никакого простора — некуда податься чистой душе. И все теснее становится, не прдохнуть от пара и электричества, от мудреных машин и механизмов, да и сам человек живет словно какой-нибудь автомат. Разве есть в таком мире место чистой духовности, святости? Поэтому всякий, чья душа еще не осквернена, скорбит и временами стремится вырваться из этой удушающей атмосферы в горные выси, где дух по-прежнему чист. Вот и наши души тяготятся бренной земной жизнью, и потому тянет их ввысь, в чистоту небес. Грубая земная материя гнетет нас тяжким бременем, чистой духовности взялкала душа. Она страдает от низменности окружающей нас черствой действительности, ибо жаждет возвышенного. Потому-то мы и оставляем землю и восходим, восходим в небо; может быть, там сможем хоть недолго отдохнуть, восстановить силы и окрепнуть — и тогда, посвежевшие и обновленные, вернемся к прежней своей судьбе и безрадостному труду, готовые снова сносить бесконечные беды и горести.

А нисходящие ангелы стоят и слушают, бледнея от страха.

Но восходящие не обращают на это внимания, до того они увлечены собой, захвачены своим собственным повествованием. По простоте душевной они спрашивают:

— А что нового на небесах?

И небожители отвечают:

— Все плохо, ничего кроме плохого. Если худо вам там, на земле, то нам здесь, на небесах, — во сто крат хуже. Небесным созданиям, может быть, и жилось недурно в стародавние времена, но теперь не то. Далекое детство сынов неба было безоблачным и прекрасным. Тогда ангелы, херувимы и серафимы⁷⁴ были еще наивными детьми, наслаждались безоглядной искренностью и чистотой, покоем и умиротворенностью, святостью и вдохновением — то было подлинное, цельное счастье. Но с течением времени им надоело безграничное благодушие. Трудно так долго выносить бесконечное, неизменное однообразие. Вот и настали иные дни: все ангелы небесные, от края и до края, тоскуют и изнывают, стремясь душою к другой жизни. Нет у нас почвы под ногами — вот что плохо. Поэтому бывает, что все небесное вызывает отвращение, и душой мы тоскуем по земле. Невыносимо бремя чистого духа, душа жаждет материального. Столь неощутимо и бесплотно все возвышенное — прямо воздуха не хватает, и потому страдающая от удушья душа жаждет материальной действительности. Нам бы хоть поработать! Хоть чем-нибудь заняться! Вот бы нам машины и механизмы, пар и электричество! Из-за всего этого мы и оставляем небо — видите, мы спускаемся, нисходим на землю. И питает нас лишь одна надежда: может быть, хоть

там будет лучше, может быть, там нам удастся получать удовольствие от жизни. Вот только обновим силы и немного окрепнем — и сможем снова вернуться сюда, чтобы забыть о пустоте и скуке жизни духовной.

Восходящие многозначительно переглядываются.

Потом обе стороны начинают вместе жаловаться:

— Горе нам! Как мы ошиблись! Мы пытались убежать от своей судьбы, вы — от своей. Но никому нет ни спасения, ни убежища — ни вам, ни нам.

И восходящие, те, что напрасно стремились в небеса за бесплотной духовностью, возвращаются тем же путем восвояси. Не надо им больше горных высей. Избавьте, пожалуйста. А небожители не желают спускаться на землю и, проворно развернувшись, устремляются снова вверх — на земле им делать нечего, это не для них.

А лестница все так же стоит одним концом на земле, другим упираясь в небеса, и ангелы поднимаются и спускаются, но теперь уже никто не ищет перемен — каждый возвращается в свою вотчину.

Одни, пресытившись действительностью, устремляются за возвышенным, но недвусмысленно убеждаются, что возвышенное не для них. Другие, пресытившись возвышенным и духовным, стосковались по материальному миру, но и им стала очевидна его бессмысленная пустота.

Бабушка со мной вместе слушала мамин рассказ. Согласившись с ним, она заключила слова-ми древних: "Каждому свое!" Каждому суждено нести свою ношу. Если бы у людей был выбор и

они могли бы ненадолго освободиться от своего бремени, сбросив все в одну общую кучу, — то и при полной свободе выбора каждый взвалил бы на себя прежнюю ношу, именно ее выбрав из общей кучи.

КОПИЛКА

Произошло это в мой день рождения, когда мне исполнилось девять лет. Ранним утром, только открыв глаза, я сразу увидел папин подарок — маленькую металлическую копилку в форме льва. Сверху, в его спине, была щель для монеток — бросишь туда денежку, и она проваливается внутрь. Так лев мало-помалу наполняется накопленными деньгами. Но то был папин подарок, а мама ничего мне не подарила. Только нежно поцеловала меня и рассказала одну из своих историй.

Вот послушайте.

Жил в небесах ангелочек, позднее дитя Господа, утешение Его старости. Был он молоденький и нежный, и Бог его очень любил. И вот однажды сказал Господь своему баловню: завтра — день твоего рождения, и Я готов подарить тебе все, чего пожелает душа твоя. Скажи, что хотелось бы тебе получить в подарок?

И ангелочек ответил: если обрел я благоволение пред очами Твоими, подари мне копилку, вроде тех, что у людей там, внизу, на земле. Но пусть будет в ней отличие от обычных копилок: снабди ее специальным хитроумным устройством, чтобы она могла наполняться сама собою, и мне не пришлось бы бросать в нее монетки.

Улыбнувшись, Господь похлопал ангелочка по плечу и сказал: утешение дней Моих! Не иначе как леностью вызвана твоя просьба — ты хочешь только сидеть сложа руки, потому и просишь, чтобы копилка наполнялась сама собою. Ну что ж, милый, будь по-твоему.

Назавтра, в день рождения ангелочка, подарили ему Бог именно такую копилку, как тот просил. Это было сделанное из глины точное изображение человека, обитающего на земле. Он был прямо как живой. И подарили эту копилку Господь Своему любимцу, и стал человек копилкой в руках ангела.

Ангел поставил ее на землю, в один укромный уголок. Но там она постояла недолго, а потом пошла по земле, ибо таким устройством снабдил ее Господь, чтобы она могла ходить. Шла она и изо дня в день наполнялась сама собою.

Копилка, как я тебе уже сказала, была глиняная и ничем не отличалась от обычного человека. Она расхаживала по земле, наполняясь с каждым днем все больше и больше.

В нее попадало буквально все, ничто не оставалось в стороне. Так шли дни, проходили годы.

Ангел наблюдал с небес за своей копилкой. Он видел, как она ходит по земле и наполняется, и душа его радовалась и пела.

Миновало семьдесят лет.

Копилка наполнилась до отказа, в ней не было больше места. Спустя семьдесят лет она лопнула от обилия содержимого — и развалилась на мелкие осколки. Вот так незадача!

Ангел внимательно смотрел, пытаясь разглядеть содержимое среди глиняных черепков.

Но что это?

Монеты раскатились по земле, и все они были

очень разного достоинства: сколько среди них фальшивых, поддельных, подозрительно легких, стертых, негодных к употреблению, потерявших какую-либо ценность! Лишь изредка блеснет то тут, то там в тусклой бесполезной груде слабая искорка золота или серебра.

Маленький ангел все смотрел и смотрел, а потом сел и заплакал.

Бог стал его утешать: напрасно ты попросил, чтобы копилка наполнялась сама собой. Вот если бы ты за нею присматривал, было бы у тебя сейчас подлинное сокровище. В следующем году Я подарю тебе на день рождения другую копилку, но теперь уж не зевай — действуй с умом, наблюдай за нею как следует.

Рассказав мне все это, мама добавила: "Дай-то Бог, сыночек, чтобы и ты попросил у ангела понаблюдать за содержимым твоей сокровищницы. Тогда в конце дней твоих ты станешь обладателем подлинных, непреходящих ценностей".

СВЕТ

*Маленькой Флорции
посвящается*

Ночь. Тьма заполняет всю спальню густым облаком.

В своей кроватке спит маленький мальчик, а рядом с ним, в большой кровати, спит мать.

Но вдруг мальчик просыпается, взволнованный:

— Мама!

Проснувшись, мать спрашивает:

— Что тебе, милый?

— Света! Света я хочу, мама! Пусть будет светло! Я хочу, чтобы немедленно был свет!

Мать встает и торопится зажечь свечу.

— Нет, мама! Не свечу я просил, не свечу! Пусть будет свет! Я хочу, чтобы был свет на *всей* земле! Я прошу, чтобы и снаружи, на всей улице был свет, чтобы был сейчас *день*!

— Но, родной мой, это ведь невозможно. Сейчас ночь, и никто на всей земле не в силах превратить ночь в день. Даже любящая мать не в состоянии сделать этого, даже для единственного сына. Подожди немножко, дорогой мой! Не будь таким нетерпеливым. И только немножко, чуть-чуть, душа моя! День наверняка придет.

— Но я прошу, чтобы день был *сейчас!* Я прошу, чтобы день был *всегда!*

И мальчик заплакал.

Женщина не могла слышать, как он плачет. Даже шум крыльев смерти она приняла бы спокойнее, чем плач своего ребенка.

А он все плакал. Шли дни, он рос, но чем старше становился, тем настойчивей просил, чтобы настал день; и чем настойчивей просил — тем горше плакал. А мать, слыша его плач, все больше худела и таяла с каждым днем — так больно ей было от того, что он плачет.

О Господь, Бог света! Все, что угодно, готова она отдать, лишь бы только для ее сына засиял свет.

И она отправилась искать свет для сына.

Куда пойти? Где можно добыть свет?

И вот стоит она на скрещеньи дорог, выбирая путь, а навстречу ей — старуха.

— Стара я, и годы прибавили мне мудрости. Света ты ишьешь, дочь моя? Света — для сына твоего? Тогда послушай, что я тебе скажу: если глаза твои ясные, сияющие ты принесешь в жертву ради сына — воссияет тот свет, которого пожелала душа его.

И женщина не ждала ни минуты. Свои ясные, сияющие глаза принесла она в жертву ради сына. Денно и нощно трудилась она ради сына, даже ночами не зная отдыха, — пока не ослепли глаза ее от ночной работы.

Но этот свет был только для ее сына, а он ведь просил света для всех, для всей земли.

И вот, снова стоит женщина на скрещеньи дорог, выбирая путь.

— Поведайте, дороги, куда пойти? Где можно добыть свет?

Тут навстречу ей — снова старуха.

— Я теперь постарела, но прежде, как и ты, была молодой. В молодости и я была матерью, как и ты. Поэтому я знаю, как быть. Если будешь трудиться в поте лица своего и твои черные как ночь волосы станут белыми и засияют, словно день, — тогда седина твоя станет светлым днем для сына твоего.

И мать, ни минуты не медля, приступила к работе. Денno и нощно работала она ради сына, без отдыха и срока, пока совсем не поседели ее черные волосы. Ясным жемчугом светилась ее седина, озаряя все своим светом на семьдесят семь миль вокруг.

Но и этого было недостаточно — свет тот был все же не всемирным и не озарял всю землю.

И вот, в третий раз стояла та женщина на перепутьи, не зная, куда пойти:

— Скажите, дороги мира, какой мне выбрать путь? Где можно добыть свет?

И явился к ней ветер, облетевший все четыре стороны света, и сказал:

— Если пурпурную кровь сердца принесешь в жертву ради сына — воссияет алый свет с великою силой и не угаснет на протяжении семи дней.

— Кровь сердца? — спросила женщина и безжалостно вырвала сердце из груди и отдала его сыну. И было у сына сердце матери, и шел от него не менее сильный жар, чем от солнца в Гивоне⁷⁵, и целую неделю подряд светило оно и днем, и ночью, распространяя сияние далеко вокруг.

Но и этот свет не был всемирным, не мог он вечно и непрерывно освещать всю землю.

И женщина снова отправилась на поиски света.

— Где свет? Где он, этот свет? Скажите, где

свет, что будет сиять для сына моего все дни, что осветит всю землю благодаря сыну моему?

Тут навстречу ей — старик:

— Если ты соберешь все книги мира, все премудрости и науки — будет у тебя тот свет, который ты ищешь, и тогда сможешь подарить его сыну.

И собрала женщина для сына все книги, какие есть в мире, пригласила к нему всех мудрецов и ученых, чтобы они передали ему всю мудрость и все науки.

И передали они ему все свои знания — и был свет, очень яркий свет. Но, взглянув в окно, он увидел там непроглядную тьму. Свет был только у него одного, и стало ему от этого нестерпимо больно.

Мальчик рос и стал юношем, а юноша — мужчиной, и был он очень несчастен!

Ибо нет покоя человеку, ищущему вечный свет, свет единый для всех людей на земле.

Все искал и искал он свет, и дни проходили за днями, и пролетали годы, и вот он уже — усталый старик, утомленный скитаниями.

У него болят ноги от долгой ходьбы, и сердце — от непрестанных размышлений.

И темные его волосы поседели, и светятся они, словно ясный жемчуг.

У него тоже есть сын, и сын просит того же, чего он сам просил все дни своей жизни.

За суетой и делами незаметно подошла последняя лихая година, и вместо долгожданного света явился к нему ангел тьмы, а у того ангела была тысяча черных глаз.

И вдруг он понял: это неизменный закон мира — поочередно наступают день и ночь, лето и зима, тьма и свет, тепло и холод.

Подозвав сына к своей постели, он сказал ему:
— Послушай! Я *искал* света, и этого достаточно,
ибо *ищущий* света — обладает им!

ПРИМЕЧАНИЯ

ТАНЕЦ

Из Библии известно, что моменты всенародного ликования отмечались плясками девушек и женщин. Рассказ "Танец", как и ряд других рассказов из цикла "В пустыне", можно интерпретировать как литературную попытку воссоздать древнюю реальность, стоящую за слишком лаконичным стихом: "Было, когда он (Моисей) приблизился к стану и увидел (золотого) тельца и пляски, и возгорелся гнев Моисея..." (Исход, 32:19).

- ¹ "...великие и чудесные события..." — имеется в виду так называемое Откровение на горе Синай, где Бог дал евреям Тору — основу европейской религиозной традиции, учение, утверждающее монотеизм и регламентирующее религиозную и социальную сферы жизни европейского народа. (См. Исход, гл. 19-20.)
- ² Шофар — бараний рог, трубные звуки которого в древности призывали европейское войско на битвы, а также возвещали о наступлении особых и праздничных дней календаря.
- ³ Кохен — еврейский священник.
- ⁴ "Встань, сделай нам божество!" (Исход, 32:1) — требование евреев к первосвященнику Ахарону;

этим стихом начинается библейский рассказ о поклонении золотому тельцу.

- 5 Эфод и хошен (нагрудник) вместе с верхней ризой, хитоном, кидаром (головным украшением) и поясом составляли облачение первосвященника, или главного кохена. (См. Исход, 28:4.)
- 6 О видах и порядке еврейских жертвоприношений см. Левит, гл. 1.

РАБ

В основе рассказа лежит заповедь об освобождении раба-еврея в седьмой год его работы у хозяина. (См. Исход, 21:2-6 и Второзаконие, 15:12-18.)

- 7 *"Они идут наследовать землю".* — Согласно Библии, Бог вывел евреев из Египта, чтобы даровать им Тору и выполнить Свое обетование о земле, много-кратно повторенное Им праотцам Аврааму, Исааку и Иакову. (См., напр., Бытие, 15:7; 26:3; 28:13.)
- 8 Скиния, или скиния собрания, или скиния Завета, — переносной шатер, святилище Бога Израиля в период странствий по пустыне и завоевания Земли обетованной. (См. Исход, гл. 26.)

МЕДНЫЙ ЗМЕЙ

Отправной точкой рассказа послужил библейский эпизод, когда Бог сначала наказал евреев за ропот и нетерпение тем, что наслал на них ядовитых змей, а затем чудесным образом исцелил ужаленных. (См. Числа, 21:4-9.)

- 9 Мидийцы по библейским представлениям — народ, произошедший от Мидьяна, сына Кетуры, налож-

ницы Авраама (см. Бытие, 25:1). Отношение сынов Израилевых к мидийцам в Торе колеблется от весьма сочувственного (у мидийского жреца нашел прибежище Моисей, спасаясь от преследования египтян, и даже женился на его дочери) до резко враждебного, т. к. мидийцы объединялись с врагами евреев (об этом пишет Фришман в рассказе "Обезглавленная телица"). Дав матери Дишона имя Кетура, Фришман напоминает о положительном отношении евреев к мидийцам.

- ¹⁰ "...до самой первой стражи..." — в древности у евреев было принято делить ночное время на три части — три стражи; по истечении каждой стражи сменялся ночной дозор, охранявший стан.

НА ГОРЕ СИНАЙ

Действие рассказа происходит в дни дарования еврейскому народу Торы на горе Синай, когда перед всем народом были провозглашены Десять заповедей. (См. Исход, гл. 19-20.)

- ¹¹ Земля Гошен — область Египта, где в основном жили евреи в период египетского рабства. Там евреи занимались скотоводством. В отличие от них, египтяне обожествляли животных и не употребляли их мяса в пищу.
- ¹² Согласно Торе (Исход, гл. 1), евреи в Египте весьма "расплодились и размножились", и фараон, опасаясь, что евреев станет слишком много, велел умерщвлять их новорожденных младенцев мужского пола.
- ¹³ В ритуалах иудаизма большое место занимают обряды очищения и омовения. В данном случае народ исполнял повеление Бога, переданное через Моисея:

”Пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню” (Исход, 19:10-11).

¹⁴ Бог поселил Адама, первого человека, и его жену Хаву (Еву) в райском саду (сад Эдем, ивр. Эден), откуда Он же и изгнал их за то, что они вкусили от запретного плода с дерева познания. (См. Бытие, гл. 2-3.)

СБОРЩИК ХВОРОСТА

¹⁵ Заповедь о соблюдении субботы в том виде, как она дважды была дана еврейскому народу в числе Десяти заповедей (вначале Богом, Исход, 20:8-11, а затем престарелым Моисеем, Второзаконие, 5:12-15), не содержала предупреждения о каре за ее нарушение. Однако в откровении Моисею, с которым Бог говорил на горе Синай ”лицом к лицу”, эта заповедь была сформулирована иначе, в частности, были добавлены слова: ”Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти” (Исход, гл. 31). Здесь и далее Фришман следует содержанию этой главы Библии.

¹⁶ *”Не разжигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний”* — Исход, 35:3.

¹⁷ ”Амен!” (ивр. ”правда”, ”верно”) — восклицание, которым собравшиеся для молитвы евреи присоединяют свой голос к прозвучавшему из уст кантора благословению.

БУНТАРЬ

Рассказ представляет собой разработку ситуации, изложенной в заповеди о ”буйном и непокорном сыне”, о котором сказано, что если ни отец, ни мать не

в состоянии с ним справиться, его следует привести на суд старейшин, а если те сочтут его бунтарем, мотом и пьяницей, то все жители города обязаны забить его камнями до смерти. (См. Второзаконие, 21:18-21.)

- ¹⁸ "...*столп облачный и... столп огненный...*" — после исхода евреев из Египта, в течение их сорокалетнего странствия по пустыне Бог Сам указывал им путь: днем Он шел перед ними в виде столпа облачного, а ночью — в виде огненного столпа.
- ¹⁹ "*Земля, текущая молоком и медом*" — много-кратно повторенная в Торе формула характеристики Земли обетованной. (См. напр., Исход, 3:8; 17 и др.)
- ²⁰ Налог десятинный — обязанность евреев отдавать десятую долю от всякого дохода Богу и отдавать ее священнослужителям — левитам, потомкам Леви, сына Иакова. Колено Леви было единственным из двенадцати колен Израилевых, которое не имело земли и находилось на содержании народа, так как о нем заповедал Бог: "Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе (Ахарону-левиту), и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным (...) в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых" (Числа, 18:19-20).
- ²¹ "*Первую стрижку овец твоих отдаи Ему*" — Второзаконие, 18:4.
- ²² "*Всех первородных детенышней-самцов...*" — Второзаконие, 15:19.
- ²³ "*Должно отдавать кохену плечо, челюсти и желудок*" — Второзаконие, 18:3.

- ²⁴ Неточная цитата из Книги Левит, 27:28: "Все заклятое есть великая святыня Господня".
- ²⁵ Время жертвоприношений исчислялось по солнцу в долях от светлой части суток.

НЕВЕРНАЯ

- ²⁶ "...и вдруг вся огромная гора... взмыла в небо..." — библейские комментаторы, в частности Раши (11 в.), сообщают, что непосредственно перед дарованием Торы, когда евреи кольцом обступили подножие горы Синай, "гора сдвинулась с места и нависла над ними, готовая накрыть их, если они не примут Торы" (Раши, комм. к Книге Исход, 19:17).
- ²⁷ Корах, один из левитов, оспаривал приоритет Мойсея и Ахарона в служении Богу и поднял против них бунт. И Корах, и все дерзнувшие поддержать его были жестоко наказаны: "Разверзла земля уста свои, и поглотила их (...) и сошли они живыми в преисподнюю". (См. Числа, гл. 16.)
- ²⁸ После того, как в пустыне была построена скиния (см. прим. 8), Бог распределил обязанности по ее разборке и переноске отдельных ее частей между разными семействами левитов. Гершон, Мерари и Кехат — сыновья Леви, сына Иакова.
- ²⁹ "...приготовившь жертву ревности..." — в Торе (Числа, 5:14-31) говорится о том, что женщину, возбудившую, справедливо или без всякой на то причины, ревность мужа, следует испытать горькой водой. Описывая эту процедуру, Фришман почти словно следует указанной главе.

ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ ТЕЛИЦА

Рассказ представляет собой импровизацию Фришмана на тему заповеди о так называемой "обезглавленной телице" (Второзаконие, 21:1-9), над которой следует омыть водой руки левитам и старейшинам города, где найден убитый (в случае, если убийцу разыскать не удалось). Эта процедура снимает грех убийства со всех жителей города.

ГОРОД-УБЕЖИЩЕ

О городах-убежищах для "убившего ближнего своего без намерения" см. Второзаконие, 4:41-43.

- ³⁰ "...занесло ее однажды в стан с перепелами..." — по выходе евреев из Египта об их пропитании заботился сам Бог: посреди бесплодной пустыни по утрам земля оказывалась покрыта манной, а по вечерам столь же неведомым образом "налетали перепелы и покрывали стан" (Исход, 16:13).

СИНАЙ

- ³¹ Но-Аммон, или Но — крупный город в Верхнем Египте, центр поклонения богу Аммону. В предсказаниях еврейских пророков имя города часто служило обобщающим именем для всего Египта.
- ³² О первой встрече Моисея с Богом, явившимся ему в горящем, но не сгорающем терновом кусте, см. Исход, гл. 3.
- ³³ Моисею не дано было войти в Землю обетованную, он лишь видел ее с высокого берега реки Иордан и умер, причем в Торе сказано, что "никто не знает

места погребения его даже до сего дня” (Второзаконие, 34:5-6).

ПАЛЬМИ

- ³⁴ “...небольшое расстояние, дозволенное в субботу...” — еврейская традиция предписывает не удаляться в субботу от места своего пребывания дальше, чем на две тысячи локтей. Чтобы облегчить выполнение этого предписания, еврейские населенные пункты окружают проволокой, отмечающей границу “места пребывания”.
- ³⁵ В еврейской традиции шестидесятая доля (эхад мишишим) считается хоть и малой, но качественно весомой долей. Так, наши мудрецы говорят, что называющий больного на шестидесятую долю облегчает его страдания, что соблюдающий субботу на шестидесятую долю обеспечивает себе место в будущем мире и т. п.

В ЛЕСУ

Действие рассказа происходит в Ту-би-шват (см. прим. 48), и автор перенес атмосферу еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в сказочный мир деревьев: тот же трепет перед приговором Всевышнего, те же мысли о возможной кончине как о каре за грехи и желание узнать о своей судьбе после смерти. (Ср. еврейское новогоднее пожелание “Пусть тебя запишут в Книгу жизни”, т.е. чтобы человек остался жить и на следующий год, а также просьбу о причислении души покойного к сонму душ праведников в поминальной молитве.)

- ³⁶ Таллит — белое с синими полосами по краям, прямоугольной формы покрывало, которым молящийся еврей накрывает голову и плечи.

- ³⁷ Шахарит (от ивритского *шахар* — “заря”) — первая обязательная молитва, установленная взамен утреннего жертвоприношения в Храме; читается утром.
- ³⁸ Мусаф (ивр., “дополнение”) — дополнительная молитва; читается в субботу, в новомесячия и в праздники.
- ³⁹ Ташлих — ритуал освобождения от грехов, который заключается в том, что в первый день Нового года евреи приходят к естественным большим водоемам и выворачивают карманы, “вытряхивая” в воду свои грехи, согласно сказанному: “Он опять смируется над нами, скроет беззакония наши. И Ты ввергнешь (*ташлих*) в пучину моря все грехи их” (Миха, 7:19).
- ⁴⁰ Хiram был финикийским царем во времена царя Соломона. Он поставлял Соломону ливанские кедры для постройки Храма в Иерусалиме (см. 3-ю кн. Царств, гл. 5).

ЛИЛИТ

Образ Лилит (от ивритского *лейл*, *лайла* — “ночь”) известен из Талмуда, Агады и каббалистической литературы. Так звали демоническую “ночную” жену первого человека, Адама; с именем Лилит принято связывать духа тьмы в женском обличье, провоцирующего человека на грех. Сюжет о Реувене-Холостяке напоминает об изречении из Талмуда: “Лилит пришла к нему и не отпускала его, когда он спал в доме один, и потому нельзя (человеку) спать в доме одному” (Шаббат, 151-б).

- ⁴¹ Тфиллин (филактерии) — кожаные коробочки с отрывками из книг Исход и Второзаконие, которые накладываются совершеннолетними евреями-мужчинами на левую руку и на лоб во время утренней молитвы в будни.

Мезуза (ивр., "дверной косяк") — прикрепляемый к косяку входной двери еврейского дома пергамент с отрывками из молитвы "Шма" (Второзаконие, 6:4-9; 11:13-21).

- ⁴² **Бет-мидраш** (ивр., "дом учения") — место, где изучают и толкуют Библию, Талмуд и другие религиозные книги; часто располагается при синагоге.
- ⁴³ **Хасидский цаддик** — глава и высший авторитет местной хасидской общины. (Цаддик на иврите означает "праведный".) Хасидизм — религиозно-мистическое народное движение в иудаизме, возникшее в 30-х годах 18 века на Юго-Западной Украине. Его основателем считается Исаэль бен-Элиэзер (Баал-Шем-Тов). Хасиды (букв. "благочестивые") видели предназначение евреев не в бесконечном изучении Талмуда и других книг мудрецов, а в служении Богу душой и добрыми делами и в стремлении к единению с Ним в состоянии мистической экзальтации.
- ⁴⁴ **Шехина** (ивр., букв. "пребывание") — одно из косвенных имен Бога, указывающее на имманентное пребывание Его в дальнем мире, проявляющееся там, где царит добродетель. Понятие Шехина отражает веру еврейского народа в нерасторжимую связь между Богом и евреями и упование на Его защиту.
- ⁴⁵ **Миква** — небольшой бассейн с проточной водой для совершения омовений с целью ритуального очищения; часто находится при синагоге.
- ⁴⁶ **Книга "Зохар"** (букв. "сияние") — одна из главных книг каббалистической литературы, построенная как комментарий к Торе. Написанный по-арамейски псевдоэпиграф, который традиция связывает с именем рабби Шимона бар-Иохая (2 в. н.э.), тогда как настоящим ее автором учёные считают Моше бен-

Шем-Тов де Лиона, испанского каббалиста (умер в 1305 году).

- ⁴⁷ Йом-Киппур (Судный день, День всепрощения) — один из главных еврейских праздников, заповедь о котором дана в Торе (Левит, 16:29, 23:27 и Числа, 29:7). В этот день Бог судит каждого еврея и весь еврейский народ в целом и прощает им грехи. Религиозные евреи проводят этот день в посте и возносят покаянные молитвы.
- ⁴⁸ Пятнадцатое швата, или Ту-би-шват — так называемый Новый год деревьев; знаменует начало весны в Эрец-Исраэль (конец января — начало февраля). По традиции в странах рассеяния было принято украсить праздничную трапезу плодами, произрастающими в Земле Израиля.
- ⁴⁹ Псалом 50 — покаянный псалом царя Давида, влюбившегося в Бат-Шеву (Вирсавию), жену военачальника Урии. Грех Давида заключается не только в близости с замужней женщиной, но и в том, что он послал Урию на верную смерть, чтобы иметь возможность жениться на ней. (См. об этом 2-ю кн. Царств, гл. 11-12.)
- ⁵⁰ *“Умри, душа моя, с филистимлянами!”* — слова Самсона, в последний раз собирающегося с силами с тем, чтобы разрушить языческий храм и погрести под его обломками врагов Израиля (Книга Судей, 16:30).
- ⁵¹ *“...один из дней Ханукки...”* — праздник Ханукка был установлен в память о “чуде с елеем” при освящении (на иврите *ханукка*) Второго храма Маккавеями после разгрома греко-сирийских завоевателей Иудеи (165 г. до н.э.). По традиции начинается 25 кислева (конец декабря) и длится восемь дней.

- ⁵² Четырехбуквенное имя Бога, или тетраграмматон — одно из обозначений имени Бога в Торе и в Библии вообще, которое запрещено произносить и которое при чтении Торы в синагоге, а также в молитвах заменяют священным именем Адонай.
- ⁵³ Согласно еврейской традиции, не полагается выбрасывать пришедшие в негодное состояние (истрепавшиеся, рваные и т.п.) тексты Библии, молитвенников и вообще любые тексты, где встречается имя Бога и которые поэтому считаются священными (в т. ч. мезузы и тфиллин). Все эти тексты собираются в синагоге и по мере накопления хоронятся в земле в специальных закрытых сосудах. Благодаря этой традиции до нас дошло множество древних еврейских религиозных текстов в так называемых генизах ("местах сокрытия").

ГОЛЕМ

- ⁵⁴ Иехуда Лёв (Лива) бен-Бецалель, или Махарал из Праги (1512 — 1609) — раввин, талмудист, мыслитель и ученый. Подробнее о нем см. в предисловии.
- ⁵⁵ "Шем ха-мефораш" — талмудическое название тетраграмматона (см. прим. 52), которое подчеркивает, что произнесение его делает явным (*мефораш*) скрытое в четырех буквах имя Бога. Еврейские мудрецы считали начертание и произнесение "Шем ха-мефораш" строжайшей тайной, доступной только избранным, и приписывали ему магические свойства, вплоть до возможности оживлять или убивать.
- ⁵⁶ "*Ba-exi ноам...*" — начальные слова стиха 17 в 89 псалме: "И да будет...". По преданию, Моисей произнес их по окончании сооружения скинии Завета. Слова эти входят также в текст субботней утренней молитвы.

- ⁵⁷ Голем (ивр.) — истукан, неживая кукла, сделанная из глины по подобию человека.
- ⁵⁸ *“Почему запрещено сынам Израилевым ваять статуи...”* — имеется в виду вторая из Десяти заповедей, запрещающая делать изображения (кумиры) и поклоняться им (Исход, 20:4-5).
- ⁵⁹ Штреймл — меховая шапка характерной формы, надеваемая хасидами в субботу и в другие праздничные дни.
- ⁶⁰ “Молодой лев” — здесь и далее в тексте встречаются названия книг Махарала из Праги, как то: “Слава Израиля”, “Могущество Господне”, “Колодезь изгнания”.
- ⁶¹ “Книга Разиэла” — сборник тайных писаний о сотворении мира, об именах ангелов, о заклинаниях и амулетах, составленный, как полагают, рабби Эльазаром из Вормса (11 в.) “со слов ангела Разиэла”. Ангел Разиэл (от ивритского *раз* — “тайна”) — ангел магии, по преданию научивший людей астрологии, гаданью и т. п., провозвестник Каббалы.
- ⁶² Адам Кадмон (ивр., “первоначальный человек”) — согласно Каббале, духовный прообраз человека, свободный от тленного земного бытия и воплощающий в себе атрибуты Бога (*сфиrot*). Адам Кадмон был результатом самоумаления Бесконечного. См. след. прим.
- ⁶³ Бесконечный (на иврите *Эйн-соф*) — каббалистическое (и принятное вообще у хасидов) обозначение Бога как первопричины бытия, которая не заключает в себе “персоны” и отвергает возможность воспринимать Бога как личность. *Эйн-соф* проявляет себя посредством десяти *сфиrot* — Его атрибутов.

- ⁶⁴ "...отлучен от общины" — в ряде случаев еврейская традиция предписывает наказывать человека за прегрешения отлучением его от общины (на иврите отлучение — *херем*), т.е. прекращением всех светских и религиозных контактов с ним. Рамбам (12 в.) перечисляет 24 прегрешения, за которые следует подвергать отлучению от общины, в том числе, пренебрежительное отношение к еврейскому Учению, к мудрецу, к представителю еврейского суда и т.д.
- ⁶⁵ Рабби Азария (из семьи Rossi, Италия, 1511 — 1578) — один из выдающихся еврейских мыслителей эпохи Ренессанса. Известен как знаток классической философии и автор "критических трудов" о хронологии и процессе создания Танаха (Ветхого Завета) и мидрашей. Его книга "Свет очей" вызвала бурную полемику в еврейских кругах и была запрещена для изучения лицам моложе 25 лет. Махарал из Праги подверг ее резким нападкам в своем труде "Колодезь изгнания".
- ⁶⁶ Традиция порицает малейшее отвлечение от изучения Торы. Так, Мишна, трактат Авот, гл. 3, мишна 7, гласит: "Об идущем по дороге и размышляющем о Торе, который прерывает учение свое, чтобы восхлиknуть: "Как прекрасно дерево сие! Как прекрасна нива сия! — о таком человеке говорит Писание, что он рискует душою своею".
- ⁶⁷ Бытие, 8:21.
- ⁶⁸ В Мишне (трактат Авот, гл. 4, мишна 16) сказано: "Этот мир — Преддверье будущего мира. Приготовь себя в Преддверье, чтобы войти в Черног" (мир будущий). Махарал, написавший свой труд "Путь жизни" как комментарий к трактату Авот, ввел в него упомянутый в тексте мидраш, поясняющий эту мысль.

⁶⁹ Иудино дерево, или багрянник — дерево, обильно цветущее мелкими ярко-розовыми цветами; по народному поверью именно на нем повесился Иуда Искариот.

⁷⁰ Грозные дни (на иврите *ямим нораим*) — первые десять дней месяца тишрей (с первого дня Рош ха-Шана, Нового года, по Йом-Киппур, Судный день), посвящаемые в еврейской традиции покаянию в грехах и мольбам о прощении в наступающем году.

⁷¹ См. прим. 39.

⁷² В Мишне (трактат Авот, гл. 4, мишна 22) сказано: "Знай, что всему ведется учет, и да не сулит тебе злое начало, что в могиле найдешь ты убежище свое, ибо не по своей воле ты создан (...), не по своей воле живешь (...) и не по своей воле должен держать ответ и давать отчет перед Царем всех царей, Святым, да будет Он благословен!"

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

⁷³ О лестнице Иакова см. Бытие, 28:12-17. Все детали описания ее соответствуют Торе, а "комментарии" принадлежат Фришману.

⁷⁴ Ангелы, херувимы и серафимы — бесплотное "воинство небесное", свита Бога.

СВЕТ

⁷⁵ Солнце в Гивоне остановилось в небе по слову Иехошуа бин-Нуна (Иисуса Навина), чтобы светить евреям, сражающимся с аморейцами за Эрец-Израэль (Книга Иисуса Навина, 10:12).

КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО
ВРЕМЕНЕМ
5. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНИЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской
поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-ха-Ам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ
БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И
СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 — 1967)

25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Аvigур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЕНЬ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО, ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША

56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. "ДЕТСТВО" И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник: И.Кауфман. Библейская эпоха
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА

80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б.Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С.Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Х.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА
"ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ.
Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА

105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН.
Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН.
Биография. Книга 2
107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ.
Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ.
Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник произведений и писем
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В
ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В
ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ
МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки
израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА —
РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.
Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.
Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2

128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Баращ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роккес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ

158. **Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ**
159. **И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ**
160. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО**
161. **Мальcolm Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО**
162. **А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ**
163. **И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ**
164. **СКОПУС-2. Сборник произведений израильских литераторов, пишущих по-русски**
165. **Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.**
Сборник рассказов
166. **П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ**
167. **Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИЕ ЭПОХИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ**
168. **Яаков Кац. ЕВРЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ**
169. **Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ**
170. **Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
171. **И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!**
172. **Х.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ**
173. **Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1**
174. **Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2**
175. **Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО — ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ**
176. **Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ**
177. **А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 1**
178. **А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ. Книга 2**
179. **Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 1**
180. **Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ. Книга 2**
181. **И.Бер. ГАЛУТ**

182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1
183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2
184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии. Сборник материалов
186. Хаим Гури. ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ. Сборник стихов и прозы
187. А.Мазар. ЗЕМЛЯ БИБЛИИ И АРХЕОЛОГИЯ. Археологические находки и их исследования
188. А.-Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 1
189. А.-Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 2
190. Натан Шахам. КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов и сказок для детей

15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской детской литературы. Книга 1
18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской литературы. Книга 2
19. Одед Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ. Обработка Миры Меир
23. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА УДАЧИ, ИЛИ "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!"
24. Мириям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ.
25. Яэль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
26. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. История еврейского народа с древнейших времен до XVIII века. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается Сборник задач и упражнений
2. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. История еврейского народа от XVIII века до наших дней. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается Сборник задач и упражнений

3. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
4. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От эпохи патриархов до восстания Бар-Кохбы. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается Тетрадь для самостоятельных работ
5. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. 1870—1914. Учебник для среднего и старшего школьного возраста. К учебнику прилагается Методическое пособие
6. ГЕОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ. Прибрежная равнина и север страны. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается Тетрадь для самостоятельных работ
7. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Сборник обработанных для юного читателя библейских сюжетов. К сборнику прилагается методическое руководство для родителей и учителей
8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От Талмудической эпохи до зарождения сионизма. Учебник для среднего и старшего школьного возраста

Наши книги можно заказать по адресу:

P.O.B. 4140, Jerusalem 91041, Israel

Давид Фришман (1859 — 1922) — многосторонний и плодовитый еврейский писатель. Он известен также как выдающийся переводчик на иврит произведений мировой литературы. Его собственное творчество символизирует переходный период между эпохой Хаскалы (Просвещения) и развитием новой литературы на иврите.

Большая часть рассказов этого сборника основана на сюжетах библейской Книги Чисел (на иврите "Бе мидбар" — букв. "В пустыне"), но Библия служит писателю лишь фоном для исследования личных и общественных переживаний его персонажей.